

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

ЦЕРНЫЕ
ВОРОНЫ
—XIV—
СМЕРТЬ
В ЕГО ГЛАЗАХ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Любовь умирает не сразу. Сначала она хоронит.

18+

Ульяна Соболева

**Черные вороны 14.
Смерть в его глазах**

«Автор»

2026

Соболева У.

Черные вороны 14. Смерть в его глазах / У. Соболева — «Автор», 2026

Макс вернулся не за прощением. Он вернулся, чтобы уничтожить женщину, которая однажды лишила его семьи, детей и права знать правду. Дарина была готова к его ненависти. К унижениям, обвинениям и жестокости. Но не к тому, что спустя годы одно прикосновение этого мужчины по-прежнему заставит её сердце предательски биться. И не к страшной тайне, способной разрушить всё, что она так отчаянно пыталась спасти. Макс уверен: она предала его со Стефаном, а дети, которых он считал своими, могут оказаться чужими. Ревность превращает любовь в оружие, прошлое возвращается за расплатой, а правда становится опаснее самой беспощадной лжи. Между ними слишком много боли, слишком много крови и слишком сильное чувство, которое не сумели убить ни годы, ни разлука, ни ненависть. Но что произойдёт, когда Макс наконец узнает правду? Сможет ли он простить женщину, которую любил до безумия? И останется ли у них время, если смерть уже смотрит на него из собственных глаз?

© Соболева У., 2026

© Автор, 2026

Ульяна Соболева

Черные вороны 14. Смерть в его глазах

Глава 1

Первым ко мне вернулся звук. Не боль — эта сука не спешила, прекрасно зная, что я от неё никуда не денусь. Она ждала где-то под кожей, расплзалась по переломанному телу густой чёрной смолой и позволяла мне несколько милосердных секунд считать капли, срывающиеся с чьих-то пальцев на бетон.

Кап. Кап. Кап.

Я открыл глаза и увидел собственные ботинки. Один шнурок развязан, светлая кожа залита кровью, и я понятия не имел, моя она или чужая. Эта неизвестность показалась почти смешной. В мире, где люди знают о тебе всё — имя матери, любимую марку сигар, первую девчонку, место старого перелома, — единственной тайной остаётся, чья кровь засыхает на твоих ногах.

Попытался пошевелиться, и боль наконец-то решила перестать кокетничать. Взорвалась под рёбрами, прошла раскалённой арматурой вдоль позвоночника, ввинтилась в плечи и сжала затылок так, будто кто-то изнутри раскалывал череп зубилом. Меня вывернуло до мурашек, побежавших от копчика к шее. Горло пересохло, во рту стоял металлический привкус, а пальцы за спинкой железного стула почти не чувствовались — пластиковый хомут перетянул запястья до мяса.

Напротив висел Глеб.

Именно висел. Запястья в наручниках, цепь переброшена через крюк под потолком, носки тяжёлых ботинок едва касаются пола. Чёрная футболка превратилась в мокрую багровую тряпку, на красивом лице не осталось живого места. Один глаз заплыл, губа рассечена, по подбородку тянется тонкая струйка крови. Обычно спокойный, собранный, с тем самым холодным взглядом, от которого люди начинали вспоминать грехи ещё до того, как он задавал вопросы, сейчас мой друг выглядел куском мяса, который забыли снять с крюка после разделки.

У меня внутри что-то протяжно заскрипело, как кость под тупой пилой.

— Глеб.

Голос вырвался сиплым, будто гортань набили битым стеклом.

Он не ответил. Только пальцы дрогнули.

Жив.

Пока жив.

Я заставил себя отвести взгляд. Нельзя смотреть на него дольше секунды. Нельзя позволять этим ублюдкам понять, что каждый его вдох сейчас вытягивает из меня по жиле. Они и без того знали, что мы пришли вместе, но пока не знали главного: насколько легко можно распороть одного из нас болью другого.

Помещение оказалось маленьким, низким, без окон. Голые стены, слив в центре пола, камера под потолком и железный стол, на котором инструменты лежали с аккуратностью музейных экспонатов: ножи, плоскогубцы, медицинские зажимы, моток провода, шприцы, пластиковая бутылка с водой. Возле двери стояли двое в чёрной форме без знаков различия. Третий сидел на краю стола и листал что-то в телефоне, словно ждал не моего пробуждения, а начала скучного совещания.

Заметив, что я открыл глаза, он улыбнулся. На вид лет сорок, широкое серое лицо, маленькие глазки и руки мясника. Такие ладони способны заботливо держать ребёнка и с той же нежностью вырывать человеку ногти.

— Очнулся, красавчик. А мы уже решили начинать без зрителя.

— Начните с себя, — я облизнул лопнувшую губу и почувствовал свежую кровь. — Прострелите друг другу головы. Клянусь, я не обижусь, если пропущу первый акт.

Он медленно убрал телефон.

— Точно Воронов.

— Обидеть хотел? Тогда тебе придётся придумать что-то серьезнее фамилии, которой твоя контора пугает непослушных детей.

Он ударил меня без замаха, ладонью. Голова мотнулась в сторону, перед глазами вспыхнуло белым, а во рту стало ещё больше крови. Я медленно повернул лицо обратно и сплюнул ему под ноги.

— Слабо. У вас тут стажёров на допросы ставят или ты по квоте для умственно отсталых?

Второй удар опрокинул стул. Плечо впечаталось в бетон. Щекой я проехался по шершавому полу, сдирая кожу, и на короткую секунду потерял воздух. Рёбра завывали так, что из горла едва не вырвался стон. Я проглотил его вместе с кровью. Подавился, закашлялся и всё равно рассмеялся, хотя смех резал внутренности тупым ножом.

Меня подняли. Комната качнулась, затем снова встала на место.

Мясник присел передо мной на корточки и взял за волосы, запрокидывая голову. В его глазах горел азарт человека, который наконец-то нашёл игрушку, способную ломаться медленно.

— Где Дарина Воронова?

Сердце ударило по рёбрам так сильно, что боль стала почти звуком. Мама. Уставшая, измученная, разорванная между детьми и женщиной, которого продолжала любить с каким-то страшным, нечеловеческим упорством. В последний раз я видел её бледной, с тёмными кругами под глазами и сильно сжатыми на моих запястьях пальцами. Она заставляла меня поклясться, что я не подниму оружие против отца.

Я не поклялся.

Не смог.

Потому что никогда не даю обещаний, которых могу не выполнить.

— Не знаю такую.

Пальцы в волосах сжались.

— Твоя мать.

— У меня их несколько. Ты уточни, которая.

Ублюдок выпрямился и кивнул подчинённому. Тот подошёл к Глебу, взял его за подбородок и поднял голову. Друг открыл уцелевший глаз и посмотрел прямо на меня. Без мольбы. Без страха. С едва заметной насмешкой, будто хотел сказать: «Ты серьёзно из-за этого хмыря переживаешь?»

Меня пробрало холодом до костей. Я слишком хорошо знал этот взгляд. Глеб так смотрел, когда ему было невыносимо больно и он боялся, что мы это заметим.

— Ещё раз, — произнёс мясник. — Где твоя мать?

— Понятия не имею.

Кулак вошёл Глебу под рёбра. Его тело дёрнулось, цепь звякнула, из груди вырвался сдавленный хрип.

Я заставил себя не шевелиться. Только зубы стиснул так, что в висках застреляло.

— Где Андрей Воронов?

— В Караганде.

Новый удар. Глеб согнулся, насколько позволяли поднятые руки. По его лицу прошла судорога, и я почувствовал её в собственном животе, словно кулак вошёл в меня. Хотелось вцепиться зубами в горло того ублюдка, вскрыть его, разорвать и месить руками горячие внутренности до тех пор, пока они не перестанут двигаться.

Вместо этого я улыбнулся.

— Где архив Радича?

— В Караганде. Рядом с Андреем. Они там санаторий открыли для бывших карателей. Тебе скидку оформить?

Мясник посмотрел на стол.

— Хорошо. Давай попробуем иначе.

Он взял плоскогубцы.

Глеб перевёл взгляд на инструмент, потом снова на меня. Его лицо оставалось спокойным, но на лбу выступила испарина.

— Яш, — выдохнул он, — даже не думай.

Первое слово от него ударило сильнее чужих кулаков.

— Ты ошибся адресом, — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал лениво. — Я вообще редко думаю.

— Это правда, — окровавленные губы Глеба дрогнули. — Всегда говорил, что ты семейный брак.

— Завидуй молча. Не всем везёт родиться красивыми.

— Ты на себя давно смотрел?

Каратель ударил его по почкам. Глеб вскрикнул, не успев спрятать звук, и этот короткий крик содрал с меня кожу. Внутри будто выдернули нерв и намотали на раскалённый штырь. Я рванулся, стул заскрежетал по бетону, хомут впился глубже, разрезая запястья.

Мясник заметил. Конечно, заметил. Его улыбка стала шире.

— Вот оно. А я уже думал, у принца Воронова ничего живого не осталось.

Он зажал плоскогубцами ноготь на указательном пальце Глеба.

— Стой.

Слово вылетело само.

Трое посмотрели на меня.

Глеб медленно качнул головой.

— Не смей, Яша.

— Заткнись.

— Я тебе кости переломаю, если заговоришь.

— Очень страшно, особенно сейчас.

Я перевёл взгляд на мясника.

— Что именно тебе нужно?

— Всё. Координаты убежища. Имена. Маршруты. Оружейные склады.

— А ключ от квартиры, где деньги лежат, не дать?

Плоскогубцы потянули вверх.

Глеб выгнулся. Крик захлебнулся в горле, но я увидел, как из-под металла показалась кровь, как ноготь отделился от мяса, и меня вывернуло изнутри. Кислота поднялась к глотке. Я проглотил её, зажмурившись всего на мгновение, и перед глазами появилась мама. Её ладонь на моей щеке. «Он твой отец. Помни об этом, Яша».

Отец.

Если он действительно командовал этими людьми, значит, это он подвесил Глеба на цепь. Он позволил вырывать ему ногти. Он сделал нас мясом на собственном крюке.

И всё же где-то в самом жалком, детском, тщательно задушенном куске меня продолжала жить уверенность: если отец войдёт, всё закончится.

Я ненавидел себя за неё.

— Где убежище? — повторил мясник.

— Пошёл на хрен.

Ноготь оторвался.

Глеб закричал.

В этот раз громко. Его крик ударился о стены и вернулся ко мне эхом, раздробив остатки самообладания. Слёзы сами выступили из глаз — не от моей боли, а от бессилия. Я моргнул, но одна всё-таки сорвалась, прошла по содранной щеке, смешалась с кровью.

Мясник увидел и довольно облизнул губы.

— Плачешь, принц?

— От твоей тупости. Она физически мучительна.

Он подошёл и размазал слезу большим пальцем. Затем сунул окровавленный палец мне в рот.

— Оближи.

Меня затрясло. Не от страха — от унижения, такого густого, вонючего, что оно забило лёгкие. Хотелось откусить ему палец, но я понимал, чем это закончится для Глеба. Поэтому медленно провёл языком по чужой коже, чувствуя вкус собственной крови и слёз.

Мужчина засмеялся.

— Вот и молодец. Воронов всё-таки умеет быть послушным.

Я смотрел ему в глаза и улыбался разбитыми губами, пока внутри меня рождалось обещание. Я запомню его лицо. Каждый прыщ, каждую морщину, запах пота, форму зубов. Если выберусь, он будет жить долго. Намного дольше, чем захочет.

— А теперь скажи адрес.

— Наклонись ближе.

Он приблизился, уверенный, что победил.

Я плюнул ему в лицо.

Удар был такой силы, что стул снова опрокинулся. На этот раз голова ударилась о бетон. Мир погас, вернулся красными волнами, и сквозь них я услышал, как Глеб матерится, как его бьют, как хрустят, кажется, мои собственные рёбра.

— Хватит, — раздался за дверью спокойный голос.

В комнате стало тихо.

Даже боль на секунду притихла вместе со всеми.

Меня подняли. Я повис на ремнях, силясь сфокусировать взгляд. Сначала увидел чёрные ботинки. Затем длинные ноги, форму без единой складки, сильные руки в тонких кожаных перчатках.

Сердце остановилось.

Нет. Оно не разбилось — для этого требовалась хотя бы секунда. Оно просто прекратило существовать, оставив в груди пустую дыру, через которую хлынул ледяной воздух.

Максим Воронов стоял в дверях.

Мой отец.

Коротко стриженные тёмные волосы, чисто выбритые жёсткие скулы, прямой нос и тонкий белый шрам у виска. Высокий, невыносимо красивый той хищной мужской красотой, от которой когда-то женщины забывали имена, а враги — последние молитвы. Он казался моложе и одновременно старше, будто с лица соскоблили прожитые с нами годы, но оставили все пережитые смерти. И глаза. Его проклятые синие, как васильки под ясным небом, глаза, которые я узнавал бы даже в аду. Только теперь в них не было ни ярости, ни любви, ни привычной насмешки. Ничего, что принадлежало моему отцу.

Он посмотрел на Глеба, на оторванный ноготь, на меня. Взгляд скользнул по лицу, задержался на крови и прошёл дальше.

Не узнал.

Я ждал этой встречи, ненавидел её, представлял тысячи раз, что скажу, как ударю его, как потребую объяснений за мать, за нас, за каждую ночь, когда она захлёбывалась слезами, а я лежал рядом и делал вид, что сплю. Но сейчас внутри меня был маленький мальчик, беззаветно

влюблённый в отца. Он рвался наружу, хотел позвать, броситься к нему, спрятаться за его спиной и поверить: папа пришёл, теперь нас никто не тронет.

Мне стало так стыдно, что захотелось сдохнуть прямо на этом стуле.

Отец подошёл к мужчине с плоскогубцами.

— Кто разрешил использовать инструменты?

— Они молчат.

— Я спросил, кто разрешил.

— Никто, но я решил...

Максим сломал ему шею одним движением.

Хруст прозвучал негромко, почти буднично. Тело упало возле ног Глеба. Плоскогубцы звякнули о бетон.

Я смотрел на отца и чувствовал, как надежда снова поднимает голову. Жалкая, изуродованная, но живая.

— Пленных не калечить без моего приказа, — Максим снял испачканную перчатку и бросил её на мертвеца. — Если человек не понимает приказ с первого раза, второй ему уже не потребуется.

Он направился ко мне.

Каждый его шаг вколачивал меня глубже в стул. Я чувствовал знакомый запах сигар, кожи и горького парфюма. Запах отцовского кабинета. Запах дома, которого больше не существовало.

Максим остановился совсем близко.

— Имя.

Я рассмеялся. Смех получился мокрым, почти похожим на рыдание.

— Серьёзно?

Он ударил меня по разбитой скуле. Не сильно по сравнению с остальными, но именно этот удар оказался самым болезненным. Потому что я знал эту ладонь. Она лежала у меня на плече на семейных фотографиях, вправляла сломанный нос, держала затылок, когда отец говорил, что мужчина имеет право бояться, но не имеет права позволять страху принимать решения.

— Имя.

— Яков Воронов.

Ничего.

Даже ресницы не дрогнули.

— Возраст.

— Сам посчитай. Ты присутствовал при моём зачатии.

Один из карателей хмыкнул. Максим не обернулся, но смех мгновенно оборвался.

Он наклонился, упираясь ладонями в подлокотники. Его глаза оказались напротив моих.

— Где Дарина Воронова?

— Найди. Ты же всегда находил её. Даже когда она сама не хотела, чтобы её нашли.

В синеве что-то дрогнуло.

Я рванулся к этой трещине всем существом.

— Посмотри на меня. Не как на пленного. Нормально посмотри. Ты говорил, что я слишком похож на тебя. Мать радовалась, тебя это бесило, а я ненавидел, когда вы обсуждали моё лицо, будто меня рядом нет.

— Заткнись.

— Ты учил меня стрелять. Сломал мне нос, когда я полез за тобой на тренировку. Сам вправлял, потому что к врачу везти было стыдно.

— Заткнись.

— Ты называл меня Яшей только тогда, когда боялся за меня.

Его пальцы сжались на металле. Сжались так сильно, что побелели костяшки.
Он слышал.

Не помнил — но слышал где-то глубже памяти, в крови, в костях, в той части себя, которую невозможно вырезать препаратами и приказами.

Максим резко выпрямился.

— Уведите второго.

Каратели сняли Глеба с цепи. Он рухнул им на руки, но нашёл силы поднять голову.

— Не верь ему, Яш, — прохрипел он. — Что бы он ни сказал.

Я смотрел только на отца.

Он развернулся к двери.

И тогда проклятый мальчик внутри меня победил. Разорвал взрослого, злого, давно никому не доверяющего Якова Воронова и вырвался наружу одним словом:

— Пап.

Максим застыл.

По моему лицу снова потекли слёзы. Я ненавидел их, ненавидел себя, ненавидел его за то, что именно перед ним я опять стал ребёнком, который просыпался от каждого шороха и ждал, что отец вернётся.

— Папа, посмотри на меня.

Он повернул голову медленно, словно преодолевал сопротивление собственного тела. На одно бесконечное мгновение я увидел в его глазах боль. Такую оглушительную, такую живую, что меня пронзило ею от горла до паха. Но почти сразу её затопила ярость.

— Мой сын погиб много лет назад.

В эту секунду во мне умер тот мальчик.

Не красиво, не тихо. Он захлебнулся кровью, сдох у ног собственного отца и оставил после себя только осколки, режущие внутренности на каждом вдохе.

Максим вышел, не оглянувшись.

Я смотрел на закрывшуюся дверь и смеялся, пока смех не превратился в вой, а вой — в беззвучные судороги, от которых ломило кости. Я больше не пытался спрятать слёзы. Пусть смотрят. Пусть наслаждаются. Они только что увидели, как человека можно выпотрошить без ножа.

Отец не вспомнил меня.

Но он испугался.

А значит, где-то внутри этого мертвеца мой отец всё ещё был жив.

И я собирался вытащить его наружу, даже если для этого придётся вскрыть Зверя от горла до живота собственными руками.

Глава 2

Чужое слово шло за мной по коридору, как пуля, которая почему-то не пожелала убить сразу и теперь медленно проворачивалась в черепе, размалывая кость, память и то проклятое место внутри, где у нормальных людей, наверное, находилась душа.

Папа.

Я не обернулся. Не ускорил шаг. Не позволил ни одному из бойцов, вытянувшихся возле стальных дверей, увидеть, как под чёрной тканью рубашки между лопаток выступил холодный пот, а пальцы правой руки свело такой судорогой, будто они всё ещё помнили маленькую ладонь, которую когда-то держали. Когда-то — слово для слабых. Для тех, кто живёт прошлым, потому что в настоящем у них не осталось ничего, кроме собственных могил. Моё прошлое сгорело вместе со зданием, из которого меня вытащили без имени, без лица и почти без половины костей; врачи собрали меня на металлические пластины, Лис подарил новую биографию, а я заплатил ему преданностью, потому что долг — единственное чувство, которое не требует памяти.

Но мальчишка знал про сломанный нос.

И назвал меня папой так, словно это было не обращение, а последний патрон, который он всадил мне прямо в сердце.

Я вошёл в умывальную, запер дверь и вцепился ладонями в края раковины. Из зеркала на меня смотрел высокий мужчина с коротко остриженными тёмными волосами, жёсткими скулами и белым шрамом у виска, уродующим правильную, слишком спокойную красоту лица. Женщины называли её хищной. Мужчины — опасной. Я называл её удобной маской, потому что никто не задаёт лишних вопросов человеку, который выглядит так, словно ответы ему давно наскучили и он предпочитает выбивать их из других.

— Мой сын жив, — сказал я отражению.

Оно не поверило.

Я открыл воду, сунул руки под ледяную струю и увидел кровь на костяшках. Не свою — того идиота, которому я свернул шею в допросной. Он ослушался приказа, поэтому умер. Простая арифметика, ясная даже ребёнку. Вот только я знал: убил его не за нож у лица Глеба. Я убил его потому, что лезвие коснулось щеки Якова, а у меня внутри что-то рванулось вперёд раньше мысли — ослепшее, бешеное, отцовское.

Я содрал перчатку и тёр кожу жёстким мылом, пока костяшки не покраснели, но чужая кровь будто въелась под ногти. Перед глазами вспыхнуло: растрёпанный мальчишка лет семи сидит на краю ванны, зло сопит и не даёт обработать разбитую коленку.

«Не трогай. Я сам».

«Конечно, сам. Ты же у нас бессмертный».

«Как ты».

Воспоминание оборвалось так резко, что меня качнуло. Я ударил кулаком по зеркалу. Стекло взорвалось серебряной паутиной, осколок рассёк ладонь, кровь упала в белую раковину и расплзлась в воде бледно-розовыми щупальцами. Боль была чистой, честной и потому почти приятной. Она не врала. Не называла меня отцом. Не смотрела глазами, похожими на мои настолько, что хотелось вырвать их из чужого лица.

В дверь постучали.

— Полковник?

— Если здание не горит, исчезни.

— Лис ждёт вас. Срочно.

Я прижал полотенце к ладони, открыл дверь и увидел Лиза — тощего, бесцветного аналитика, который умел появляться без звука и смотреть так, будто мысленно уже подписал протокол твоего вскрытия.

Его взгляд опустился к моей руке.

— Зеркало оказало сопротивление?

— Допроси его. Возможно, признается, на кого работает.

Уголок его рта дрогнул, но глаза остались холодными.

— Пленный переведён в медицинский блок. Второй потерял много крови.

— У Глеба есть имя.

Слова вывалились быстрее, чем я успел их остановить. Лиз приподнял бровь, и мне захотелось вдавить его бледное лицо в стену только за то, что заметил.

— Уже успели познакомиться?

— Уже успел прочитать дело. Попробуй когда-нибудь, помогает не выглядеть идиотом.

Мы пошли по коридору. Лампы вспыхивали над головой одна за другой, и от этого казалось, будто я двигаюсь внутри бесконечного прицела. За каждой дверью кого-то ломали, лечили, учили убивать или убеждали, что все три действия служат одной цели. Я построил здесь порядок из чужой боли и гордился им, пока один избитый мальчишка не произнёс единственное слово, способное превратить мой идеальный механизм в бойню.

— Лис приказал доставить Якова к нему, — сообщил аналитик.

— Нет.

— Это прямой приказ.

Я остановился. Лиз сделал ещё полшага и тоже замер, когда понял, что рядом со мной больше нет безопасного расстояния.

— Ты сейчас кому его повторяешь?

— Вам.

— Смело. Бессмысленно, но смело. Пленный останется в моём секторе.

— Лис считает его приманкой.

— Лис может считать себя Господом Богом. Это не обязывает меня вставать на колени.

— За ним придёт Дарина Воронова.

Её имя вошло под рёбра тупым крюком. Тёмные волосы на белой подушке. Женский смех. Тонкие пальцы на моей щеке. Запах кофе и духов, от которого во сне мне становилось нечем дышать. Затем другие кадры, уже из досье: она передаёт Андрею документы, стоит рядом с Радичем, входит в здание за час до взрыва. Жена, предавшая меня. Женщина, которую тело помнило лучше, чем разум, и ненавидело с такой силой, что ненависть слишком часто напоминала голод.

— Она не придёт.

— Ради сына — придёт.

— Ради моего, по-твоему?

Лиз выдержал взгляд.

— Именно это Лис предлагает вам выяснить.

Лис ждал меня в кабинете, развалившись в моём кресле так свободно, словно уже примерял не мебель — власть. На столе лежала тонкая чёрная папка. Именно такие папки обычно весили меньше пистолета, но убивали куда больше людей.

— Ты задержался, — сказал он.

— Ты сел на моё место.

— А ты сегодня убил моего специалиста.

— Значит, мы оба позволили себе лишнее.

Лис поднялся. Медленно, без раздражения, с той стерильной аккуратностью, от которой мне всегда хотелось проверить, есть ли у него под кожей кровь или вместо неё по венам течёт формалин.

— Человек нарушил приказ, — продолжил я. — Я избавил тебя от проблемы с дисциплиной.

— Ты избавил его от жизни, когда он коснулся лица пленного.

— Совпадение.

— Разумеется. Как и то, что ты приказал перевести Якова Воронова в свой сектор.

Чужая фамилия должна была отделить мальчишку от меня. Не отделила. Я по-прежнему слышал его сорванное «папа» и чувствовал, как это слово скребётся изнутри, пытаясь вскрыть запечатанную память.

— Он ценный источник информации.

— Тогда почему ты не позволил продолжить допрос?

— Потому что мёртвые источники говорят исключительно с идиотами и священниками.

Лис усмехнулся и подтолкнул папку ко мне.

— Я предвидел твоё любопытство.

На первой странице лежало заключение генетической лаборатории. Моё имя. Имя Якова. Таблица маркеров, печать, подписи. Внизу — сухая строка, способная разрезать живого человека без единой капли крови: биологическое отцовство исключено.

Я прочёл её один раз. Потом второй. На третий буквы потеряли форму, но смысл остался прежним.

— Откуда образцы?

— Твои хранятся после лечения. Его кровь взяли после задержания.

— Без моего приказа?

— Ты не единственный человек, способный отдавать приказы.

Я поднял глаза. Лис не отступил, хотя воздух между нами уже звенел, как натянутая перед выстрелом проволока.

— Экспертиза настоящая? — спросил я.

— Ты видишь подписи.

— Я вижу бумагу. Подписи можно купить, печати украсть, лабораторию сжечь.

— Вот оно, — тихо произнёс он. — Одного слова хватило, чтобы ты начал защищать совершенно чужого мальчишку.

— Я защищаю собственную способность думать.

— Нет, Максим. Ты защищаешь то, что Вороновы вложили тебе в голову. Они заранее подготовили Якова. Внешность, жесты, истории из твоего прошлого. Идеальный самозванец, созданный для того, чтобы нажимать на остатки твоих рефлексов.

Я снова посмотрел на фотографию в деле. Разбитое молодое лицо, тёмные брови, синие глаза, ненависть, слишком похожая на мою. Совпадение могло объяснить черты. Подготовка — фразы. Но ничто не объясняло, почему моё тело узнало его раньше, чем я услышал имя.

— Или он сын Дарины от другого мужчины, — продолжил Лис. — Ему дали твою фамилию и воспитали на твоих легендах. Так даже проще. Женщина сохраняет ребёнка любовника, а бесплодного мужа заставляет считать его своим.

Слово «любовник» вошло под рёбра тупым крюком. Перед глазами вспыхнула Дарина: густые тёмные волосы, серо-голубые глаза, тонкие запястья, губы, которые я помнил на вкус, хотя не мог вспомнить ни одного поцелуя. Рядом возникло лицо Стефана Радича из досье — слишком близко возле неё, слишком уверенно среди моих детей.

— Кто его отец?

— Она не назвала.

— Не спрашиваю, что сказала она. Спрашиваю, что выяснил ты.

— Пока ничего.

Я швырнул заключение на стол.

— Тогда твоя работа стоит меньше этой бумаги.

Лис не обиделся. Он вообще редко испытывал чувства, если их нельзя было использовать как оружие.

— Проведём повторную экспертизу, если хочешь. Результат не изменится.

— Образцы возьмут при мне.

— Как прикажешь. Но Яков — только первая часть проблемы.

Он открыл второй раздел. Фотографии, банковские переводы, записи переговоров, тела людей, погибших во время операций Вороновых. Среди снимков была Дарина в чёрном пальто. Она выходила из машины Андрея и держала в руках папку с маркировкой моего подразделения.

— Эти доказательства представят на открытом процессе, — сказал Лис. — Дарина Воронова, Андрей, Радич и остальные ответят за терроризм, убийства и попытку государственного переворота.

— Открытом?

— Именно. Люди должны увидеть падение семьи, которая слишком долго считала себя неприкасаемой. А ты возглавишь суд.

Я рассмеялся. Тихо, без радости.

— Хочешь, чтобы муж публично вынес приговор жене. Дешёвая драматургия.

— Зато убедительная. Если откажешься, все решат, что психологическая обработка Вороновых не снята и командир карателей по-прежнему принадлежит женщине, которая его предала.

— Я никому не принадлежу.

— Тогда докажи.

Он знал, куда бить. Не в разум — в гордость. В ту искалеченную часть меня, которая предпочла бы умереть, чем позволить кому-то увидеть поводок, даже если поводок существовал только в чужих словах.

Я листал материалы. Дарина передавала документы. Дарина входила в дом Радича. Дарина обнимала Якова. В каждом кадре отсутствовало начало и продолжение, но середина выглядела безупречной. Так строят не доказательства — приговоры.

— Она должна быть доставлена живой, — сказал я.

— Разумеется. Суд без подсудимой потеряет выразительность.

— Не передёргивай. Живой и без повреждений.

— Мои люди умеют обращаться с пленными.

Перед глазами возник мертвец у допросного стола.

— Сегодня я видел, как именно.

— Поэтому ты убил человека?

— Поэтому следующий, кто нарушит приказ, умрёт медленнее.

Лис прищурился.

— Ты ещё не отдал приказ.

Я закрыл папку. В груди билось что-то тяжёлое, бешеное, не согласное ни с бумагами, ни с памятью, ни с моей собственной ненавистью. Если Дарина предала, я заставлю её смотреть мне в глаза, когда буду произносить приговор. Если нет — тот, кто подделал её вину, пожалеет, что не умер до моего возвращения.

— Готовь публичный процесс, — сказал я.

Лис улыбнулся.

— Я знал, что ты выберешь правильно.

— Я ещё не закончил.

Он замолчал.

— Дарину берут мои люди. Доставляют непосредственно ко мне. Допрос провожу я. Никто не касается её, не разговаривает с ней и не входит в помещение без моего разрешения.

— Она обвиняемая, а не твоя собственность.

— Именно поэтому распоряжение должно тебя устраивать.

— Ты защищаешь её.

— Я сохраняю главную свидетельницу.

— Свидетельницу собственного предательства?

Он включил запись. На экране Дарина сидела напротив Андрея в полутёмной комнате и говорила о моём устранении. Звук почти не было, отдельные фразы тонули в помехах, но я различил движение её губ и собственное имя. Она выглядела усталой, осунувшейся, всё такой же невыносимо красивой. Андрей накрыл её руку своей, и у меня внутри поднялось не чувство — бойня. Хотелось выломать экран, добраться до мужчины сквозь время, раздробить каждый палец, посмеивший коснуться того, что тело по-прежнему считало моим.

— Когда сделана запись?

— За два дня до взрыва.

— Полная версия?

— Камера была повреждена.

— Удобно.

— Фрагмента достаточно.

— Для суда, который ты уже назначил, достаточно и фотографии виселицы.

Лис остановил кадр на лице Дарины. Я смотрел на её глаза. Человек может контролировать слова, жесты, даже слёзы, но не взгляд в секунду, когда произносит имя того, кого ненавидит. В её взгляде не было ненависти. Там была боль такой глубины, что мне захотелось отвернуться.

— Ты всё ещё ищешь ей оправдание, — заметил Лис.

— Я ищу начало разговора.

— Начало не изменит фразу об устранении.

— Зато может изменить, кого именно она собиралась устранить: меня, угрозу мне или человека, которого вы сделали из меня.

Слова вырвались сами. В комнате стало холодно. Лис медленно закрыл ноутбук.

— Осторожнее, Максим. Сомнение — первый симптом возвращения зависимости.

— А слепая вера — последний симптом идиотизма.

— Поэтому нужен публичный суд. Там будут факты, свидетели, записи. Там Дарина сможет объясниться.

— Перед толпой, которой ты заранее раздашь нужные ответы.

— Перед законом.

— Закон, который держишь за горло ты, называется заложником.

Лис улыбнулся, и я понял: ему нравилось, что я спорю. Моё сопротивление тоже являлось частью его сценария. Если соглашусь сразу — он получит послушного палача. Если стану защищать Дарину — объявит меня обработанным и отнимет командование. Он не предлагал выбор. Он показывал две двери, ведущие в одну камеру.

Оставалось сделать вид, что я вошёл.

Я подошёл вплотную. Лис был ниже, тоньше, физически слабее, но смотрел спокойно. Он привык считать, что знание делает его неуязвимым. Люди часто путают осведомлённость с бессмертием.

— Запомни формулировку, — произнёс я. — Если хоть один человек прикоснётся к Дарине без моего приказа, отвечать будешь ты.

— Даже если она окажет сопротивление?

— Особенно тогда.

— Даже если попытается сбежать?

— Пусть попробует.

Мне вдруг почудился женский смех — низкий, тёплый, беззастенчивый. «Ты никогда не умел просить, Максим. Только запираешь двери и надеяться, что я сама догадаюсь остаться».

Я не знал, было ли это воспоминание или ещё одна заноза, вбитая Вороновыми в мой мозг. Но голос оказался таким живым, что на секунду пересохло в горле.

Лис наблюдал слишком внимательно.

— Что-то вспомнил?

— Да. Почему не люблю повторять приказы.

Я вызвал начальника группы захвата. Мужчина вошёл и застыл по стойке смирно.

— Дарину Воронову взять сегодня. Оружие применять только против сопровождения. Её не бить, не связывать за шею, не допрашивать на месте. Доставить ко мне.

— Если объект будет вооружён?

— Обезоружить.

— Если окажет сопротивление?

— Терпеть.

— Полковник, это может стоить людям жизнью.

— Тогда возьми тех, чьи жизни стоят дешевле неповиновения.

Он сглотнул.

— Так точно.

— И передай всем: тот, кто оставит на ней хотя бы синяк, получит такой же. На каждом квадратном сантиметре тела.

Начальник группы вышел. Лис тихо захлопал.

— Впечатляет. Осталось назвать это заботой.

— Назови как хочешь. Только не перепутай с разрешением.

Я остался один после его ухода. На столе лежали два приговора: отрицательный анализ Якова и фотографии Дарины. Бумаги убеждали, что они чужие. Кровь внутри меня утверждала обратное и билась о рёбра, как зверь о прутья.

Я взял снимок жены. Серо-голубые глаза смотрели мимо камеры, лицо было спокойным и прекрасным той опасной красотой, от которой хотелось одновременно преклонить колени и сломать всё вокруг, лишь бы она наконец посмотрела только на меня.

— Ты предала меня? — спросил я у фотографии.

Ответа не было.

Но когда через несколько минут по радиации сообщили, что группа обнаружила Дарину и начинает захват, я встал так резко, что кресло опрокинулось.

Разум требовал суда.

Тело уже шло спасать женщину, которую я собирался осудить.

Глава 3

Они пришли на рассвете, когда темнота уже начала сереть, но утро ещё не решилось назвать себя утром, словно даже день боялся смотреть на то, что осталось от нашего убежища после ночного обстрела. В подвале пахло кровью, мокрой одеждой и йодом; раненые стонали сквозь зубы, дети спали прямо на полу, сбившись вокруг женщин в один дрожащий живой комок, а я стояла у узкого окна и смотрела, как по разбитой дороге бесшумно ползут чёрные машины. Они двигались медленно, уверенно, без фар — так приезжают не воевать, а забирать то, что уже считают своим.

— Сколько? — спросил Андрей за моей спиной.

— Пять машин. Может, шесть. Последняя осталась за поворотом.

Он выругался, коротко и бесцветно, проверил магазин, хотя мы оба знали: патронов не хватит даже для красивой смерти. В соседней комнате кто-то снова закричал — врач вытаскивал осколок без наркоза. От этого крика у меня сводило челюсть и ломило виски, но сильнее боли было другое: среди прибывших находился человек, отдавший приказ привести меня на суд. Мой муж. Мужчина, ради которого я когда-то научилась не бояться крови, теперь собирался утопить в ней меня.

— Уводим детей через тоннель, — сказал Андрей. — Стефан встретит на северном выходе.

— Тоннель простреливается.

— Тогда прикроем.

— Чем? Нашей семейной гордостью? Она, конечно, огромная, но пули пока не останавливает.

Он схватил меня за плечи и развернул. Лицо брата было серым от бессонницы, на скуле темнела засохшая кровь, в глазах горело то знакомое бешенство, которым мужчины нашей семьи заменяли страх.

— Даже не думай, Дарина.

— Я ещё ничего не сказала.

— Ты уже попрощалась с комнатой взглядом.

Я усмехнулась, хотя губы не слушались.

— Ненавижу, когда ты становишься наблюдательным в самый неподходящий момент.

— А я ненавижу, когда ты называешь самоубийство стратегией.

За стеной ударил усиленный динамиком голос:

— Дарина Воронова! Выходите одна, без оружия. В случае сопротивления здание будет зачищено.

В подвале проснулись дети. Сначала один плач, потом второй — и через несколько секунд помещение наполнилось всхлипами, шёпотом, молитвами. Маленькая девочка в чужой мужской куртке подняла на меня огромные глаза и спросила у матери, пришли ли плохие. Женщина прижала её к себе и солгала, что всё будет хорошо. От этой беспомощной лжи меня вывернуло до ледяных мурашек вдоль позвоночника. Я слишком хорошо знала цену взрослого обещания, данного ребёнку в минуту ужаса: оно потом всю жизнь гниёт внутри, если взрослый не сумел его выполнить.

Я сняла пистолет с пояса и положила на стол.

— Нет, — повторил Андрей.

— Здесь двадцать семь раненых. Девять детей. Два врача. Если начнётся штурм, они погибнут первыми.

— А если ты выйдешь, погибнешь ты.

— Зато не первой. Уже неплохое повышение в должности.

Он ударил ладонью по столу так, что подпрыгнули пузырьки с лекарствами.

— Хватит прятаться за сарказмом! Ты хочешь к нему. Даже сейчас. Даже после того, как он назвал тебя предательницей и назначил публичную казнь, ты всё равно ищешь повод оказаться рядом!

Слова впились под рёбра, вывернули наружу то, что я пыталась удержать внутри. Да, хотела. Хотела увидеть его так мучительно, что пересыхало в горле и мышцы сводило от невозможности прикоснуться. Хотела убедиться, что за холодным лицом ещё живёт мой Максим, а если не живёт — похоронить его собственными руками. Но снаружи стояли не мои желания. Там стояли вооружённые люди, а за моей спиной плакали дети.

— Я ищу повод оставить вас живыми, — сказала я тихо. — Если ради этого придётся снова встать перед ним на колени, я встану.

— Он не заслуживает твоих коленей.

— Это не награда ему, Андрей. Это цена за них.

Я кивнула на подвал. Брат посмотрел туда, и лицо его дрогнуло. На полу лежал мальчик с перевязанным животом, рядом мать держала пакет с кровью выше его головы и шептала сказку, путая слова. Врач, не поднимая глаз, продолжал работать. В эту минуту мы оба поняли: выбора не было. Иногда выбор — просто красивое слово, которым люди прикрывают момент, когда приходится решить, какую часть себя отрезать первой.

— Потребуй Максима, — произнёс Андрей. — Не говори больше ни с кем.

— Именно это я и собираюсь сделать.

— И если они тронут тебя...

— Ты ничего не сделаешь. Выведешь людей через тоннель, когда весь их отряд соберётся у фасада.

— Я не оставлю тебя.

— Оставишь. Потому что, если ты погубишь детей ради сестры, я выживу назло и буду напоминать тебе об этом каждое утро.

Он смотрел на меня долго, ненавидя за правоту, за прошлое, за Максима, за эту вечную привычку превращать собственное тело в щит. Потом прижал лоб к моему и зажмурился.

— Ты не железная.

— Знаю.

— Тогда почему каждый раз позволяешь им проверять, когда сломаешься?

— Потому что однажды они устанут раньше меня.

Я обняла его крепко, почти болезненно, вдохнула запах пороха и родной кожи, а затем отстранилась, прежде чем слёзы успели сделать меня слабее. Взяла белый медицинский бинт, обмотала вокруг запястья и вышла из подвала с поднятыми руками.

Холод ударил в лицо. Во дворе лежал тонкий снег, истоптанный тяжёлыми ботинками; на крышах соседних домов чернели стрелки, лазерные точки скользнули по груди и остановились на сердце. Я шла медленно, чувствуя каждый взгляд, каждый ствол, каждую трещину в земле. Впереди стояли люди в чёрной форме без знаков различия. Максима среди них не было.

— Оружие? — спросил командир группы.

— Осталось внутри вместе с моим желанием сотрудничать.

— Руки за голову.

— Я вышла добровольно. Не путайте пленницу с подарком.

Он подошёл ближе, высокий, бритый наголо, с маленькими бесцветными глазами. На бронежилете висела камера. Значит, Лис смотрел. Возможно, Максим тоже. От этой мысли сердце ударилось о рёбра так сильно, что стало больно дышать.

— Где Вороновы? — спросил он.

— Перед вами одна.

— Где остальные?

— Если вы не умеете считать, публичный суд получится особенно убедительным.

Его рот дёрнулся. Он схватил меня за запястье и резко заломил руку. Боль прошла плечо, но я не издала ни звука.

— Мне нужен Максим, — сказала я.

— Полковник не разговаривает с террористами.

— Передайте полковнику, что его жена вышла к нему без оружия.

— Бывшая жена.

— Попробуйте объяснить это ему, когда он вспомнит.

Вокруг раздались сдавленные смешки. Командир перестал улыбаться. Он провёл сканером вдоль моего тела, затем дёрнул молнию куртки, проверяя подкладку. Чужие руки на мне вызвали не страх — отвращение, горячее и вязкое. Я смотрела прямо в камеру на его груди, представляя, что за экраном сидит Максим. Пусть видит. Пусть смотрит, как его люди обыскивают женщину, которую он когда-то не позволял касаться даже врачам без своего присутствия.

— Внутри дети и раненые, — сказала я. — Я остаюсь у вас. Вы даёте им коридор.

— Условия ставит тот, у кого власть.

— Ошибаетесь. Условия ставит тот, кто знает, насколько сильно вы боитесь оставить меня мёртвой до суда.

Я заметила, как он коротко посмотрел на камеру. Попала. Максим приказал доставить меня живой, и этот приказ держал их за горло лучше любого оружия.

— Коридор будет, — процедил командир. — Если назовёшь северное убежище.

— Не знаю такого.

— Назовёшь.

Меня посадили на колени прямо в снег. Один из бойцов стянул руки пластиковым хомутом, другой ударил под рёбра — точно, без размаха, чтобы не оставить заметного следа. Воздух вылетел из лёгких. Мир вспыхнул белым, во рту появился металлический вкус, но я выпрямилась.

Из разбитого окна донёсся детский плач. Совсем близко, тонко, надломленно. Один из стрелков вскинул автомат, и меня накрыло такой яростью, что боль перестала существовать. Я рванулась вперёд, хотя связанные руки лишали равновесия, и плечом врезалась ему в колени.

— Там ребёнок! — крикнула я. — Опустите оружие!

Меня ударили лицом в снег. Лёд разрезал губу, кровь заполнила рот. Стрелок наступил ботинком между лопаток и надавил, прижимая грудь к земле. Я слышала, как командир при-

казал держать сектор, как щёлкнули предохранители, как за стеной женщина торопливо успокаивала малыша, зажимая ему рот ладонью. Маленький всхлип оборвался, и именно эта внезапная тишина оказалась страшнее выстрела.

— Здесь нет боевиков, — выговорила я в снег. — Только раненые. Хотите доказать, какие вы герои, — начните с пятилетних.

Давление ботинка усилилось.

— У тебя отвратительная привычка говорить лишнее.

— А у вас удобная привычка называть приказом всё, за что нормальному человеку было бы стыдно.

Командир знаком велел поднять меня. Меня дёрнули за связанные руки так резко, что плечевые суставы обожгло. Перед глазами плавали чёрные пятна, кровь стекала с губы на подбородок, но я успела увидеть: возле дальней стены мелькнула тень Андрея. Он не ушёл. Стоял там, где его могли убить одним выстрелом, и ждал, пока я куплю остальным ещё несколько минут. Я едва заметно качнула головой. Он ответил взглядом, полным такой боли, будто это не меня поставили на колени, а ему медленно ломали позвоночник.

— Пусть выходят, — сказала я командиру. — Раненые и дети. Вы получите меня и пустое здание.

— Я получу тебя, здание и имена.

— Удивительно. Столько вооружённых мужчин понадобилось, чтобы торговаться с одной безоружной женщиной.

— Слабовато, — прошептала я. — У вас собеседования по жалости проводят?

Ударили снова. Желудок скрутило, к горлу поднялась желчь. Я проглотила её вместе со стоном.

— Где семья?

— У вас удивительно бедный словарный запас.

Командир присел передо мной.

— Твой Максим мёртв. Осталось тело, которое подписало тебе приговор. Кого ты защищаешь?

— Людей от таких, как ты.

— Он сам приказал судить тебя.

— Тогда пусть сам и спрашивает.

Его ладонь сомкнулась на моём горле. Сначала почти лениво, словно он давал возможность испугаться заранее, затем пальцы сжались. Я попыталась вдохнуть — воздух не пришёл. Только сухой хрип царапнул гортань изнутри. Боль разлилась по шее, в ушах загрохотала кровь. Он наклонился так близко, что я почувствовала запах кофе.

— Где они?

Я улыбнулась. Наверное, страшно, потому что на его лице мелькнуло сомнение.

— Пошёл... ты...

Пальцы сдавили сильнее. Хрящи будто сомкнулись, разламываясь друг о друга. Я рванулась, связанные руки беспомощно дёрнулись за спиной. Снег под коленями стал чёрным, потом алым, хотя крови там не было. Тело требовало воздуха с такой яростью, что исчезло всё человеческое: любовь, достоинство, память — остался один животный ужас, один раскрытый внутри рот. Я услышала собственный хрип, тонкий, рваный, унижительный, и слёзы сами потекли из глаз. Не от слабости. От того, что организм уже прощался со мной без разрешения.

Перед глазами возник Максим — не нынешний, холодный и чужой, а прежний: стоял в дверях спальни, смотрел на меня так, будто весь мир был ошибкой, которую исправляло моё существование. «Дыши, девочка», — говорил он, когда я захлёбывалась паникой. Теперь его люди отнимали у меня дыхание, а он не приходил.

Командир ослабил хватку. Я судорожно втянула воздух, но вместо вдоха вырвался сиплый свист. Горло обожгло так, словно внутрь налили кипяток.

— Координаты.

Я попыталась ответить и не смогла. Голос сорвался на хрип.

— Громче.

Я собрала остаток воздуха.

— Мак...сима...

— Он не приедет.

— Тогда... убей.

Злость исказила его лицо. Он схватил меня за волосы, запрокинул голову и снова сдавил горло, теперь предплечьем. Что-то хрустнуло. Боль взорвалась от ключиц до языка, сломала зрение на острые куски. Я больше не чувствовала ног. Только снег под щекой, когда меня наконец бросили, и тяжёлый ботинок возле лица.

— Последний раз. Где Вороновы?

Я открыла рот. Хотела сказать: «За твоей спиной». Хотела смеяться ему в лицо, потому что вдалеке, за домами, уже должен был открыться тоннель. Но не вышло ничего. Ни слова. Ни звука. Даже хрипа.

Пустота вырвалась из меня страшнее крика.

Я коснулась горла связанными пальцами и попробовала снова. Губы двигались. Голоса не было. Меня пронзил такой ужас, что боль на секунду исчезла: будто вместе со звуком у меня вырвали имя, прошлое, право позвать детей и единственную возможность заставить Максима вспомнить меня.

Командир ухмыльнулся.

— Вот теперь тишина тебе идёт.

Раздался визг тормозов.

Все обернулись. Чёрный внедорожник остановился поперёк двора, дверь распахнулась ещё до полной остановки. Максим вышел быстро, и пространство вокруг него словно сжалось. Высокий, широкоплечий, в тёмном пальто поверх формы, он был красив той беспощадной мужской красотой, от которой когда-то у меня подкашивались колени, а сейчас ломало кости. Синие глаза нашли меня сразу.

Он увидел снег на моём лице. Связанные руки. Слёзы. Следы пальцев на шее.

И остановился.

В его лице ничего не изменилось, но я знала каждую грань этого молчания. Так выглядел Максим за секунду до убийства.

— Кто? — спросил он.

Никто не ответил.

— Я задал вопрос.

Командир выпрямился.

— Объект отказался сотрудничать. Пришлось применить допустимое давление.

Максим подошёл ко мне, присел, двумя пальцами поднял подбородок. Прикосновение было осторожным, почти невозможным после увиденного, и от этой осторожности меня разорвало сильнее, чем от пытки. Его взгляд скользнул по синякам. Большой палец замер у пульсирующей жилки, не касаясь.

— Скажи что-нибудь.

Я смотрела ему в глаза. Губы задрожали. Я попыталась произнести его имя — то самое, которым столько лет останавливала его ярость, звала к себе из любого ада.

Не прозвучало ничего.

В его зрачках что-то умерло.

Максим поднялся и ударил командира. Не кулаком — рукоятью пистолета в висок. Мужчина рухнул, но Максим схватил его за бронежилет, поднял и ударил снова. Хрустнула перебоина. Брызнула кровь. Люди вокруг замерли, не решаясь вмешаться.

— Полковник... приказ... — захлебнулся тот.

— Мой приказ был доставить её ко мне неповреждённой.

— Она скрывала террористов.

Максим приставил ствол ему под подбородок.

— А ты сейчас скрываешь мозг. Проверим, существует ли он?

Я схватила Максима за полу пальто. Он посмотрел вниз. Я отрицательно качнула головой. Не ради мучителя — ради детей, которые могли услышать выстрел и решить, что штурм начался. Ради Максима, которому Лис только и ждал нового доказательства безумия.

На одно страшное мгновение мне показалось, что он меня понял.

Потом его лицо снова стало каменным. Он оттолкнул командира, приказал заковать и увести, а меня поднял со снега. Руки его легли под колени и спину так естественно, словно тело помнило то, что разуму запретили. Я прижалась щекой к его груди и услышала сердце — быстрое, бешеное, живое. Слезы снова потекли, унизительно горячие. Хотелось вцепиться в него, закричать, что я здесь, что это я, что он опоздал всего на несколько минут и эти минуты отняли мой голос.

Но кричать было нечем.

— Не воображай, что я тебя спасаю, — произнёс он, не глядя на меня. Каждое слово было холоднее снега. — Ты нужна для суда.

Я подняла руку и коснулась его щеки. Максим вздрогнул так едва заметно, что никто другой не увидел бы. Я увидела. Всегда видела.

Он перехватил моё запястье и отвёл ладонь.

— Не путай право собственности с жалостью.

Если бы голос остался, я бы рассмеялась ему в лицо. Спросила бы, с каких пор право собственности заставляет мужчину держать женщину так, будто мир рухнет, если он ослабит руки. Но вместо слов из горла вышел только беззвучный выдох.

Максим понёс меня к машине. Вокруг расступались вооружённые люди. За его плечом я увидела северную стену убежища и едва заметную тень последнего человека, исчезающего за развалинами. Они успели. Дети и раненые уходили.

Значит, я не зря отдала голос.

У дверцы машины Максим снова посмотрел на мою шею, и пальцы его сжались на моём теле до боли.

— Кто ты такая, — прошептал он почти неслышно, — если из-за тебя мне хочется убивать собственных людей?

Я прижала два пальца к его груди, туда, где билось сердце, затем к своей.

Он побледнел.

Но дверца захлопнулась между нами раньше, чем память успела ответить.

Глава 4

Я пришла в себя от собственного крика, которого не услышал никто.

Тело выгнулось на узкой кровати, рот раскрылся, лёгкие вытолкнули воздух, но мир остался мёртвым, словно вместе с голосом у меня отняли право тревожить чужую тишину. Несколько секунд я лежала, не понимая, почему над головой белый потолок, почему запястья горят под повязками, почему каждый вдох проходит сквозь горло ржавой проволокой. Потом память вернулась целиком: снег под щекой, ботинок между лопаток, пальцы на шее, лицо Максима — красивое, страшное, опоздавшее.

Я попыталась позвать его.

Губы сложились в имя. Не прозвучало ничего.

Паника вонзилась под рёбра и раздвинула их изнутри. Я села слишком резко, комната качнулась, в глазах потемнело. Схватила за горло и снова заставила себя произнести хоть звук — стон, хрип, проклятие. Воздух вышел безмолвно. От унижения меня затрясло так сильно, что застучали зубы. Я всегда спасалась словами: резала ими, защищалась, доводила Максима до бешенства и возвращала из него одним произнесённым именем. Теперь во мне оставили только молчание, а человеку, которого требовалось заставить вспомнить, молчаливая женщина была бесполезнее фотографии.

Я спустила ноги на пол и добралась до ванной, цепляясь за стену. В зеркале стояла женщина, которую я не узнала: бледное лицо, разбитая губа, спутанные тёмные волосы, багровые отпечатки пальцев вокруг шеи. Когда-то Максим целовал это место, медленно, почти благоговейно, и говорил, что у меня слишком тонкая кожа для его рук. Теперь чужие пальцы написали на ней признание в его бессилии — он приказал не трогать меня и всё равно не успел.

Я повернула кран, набрала воду в ладони, но они дрожали, и вода стекала между пальцев. Хотелось заплакать громко, с воем, с тем уродливым животным звуком, после которого становится легче. Я согнулась над раковиной, плечи заходили ходуном, слёзы падали в белую чашу — совершенно бесшумно. Даже горе стало немым. Я била ладонью по мрамору, пока не заболели кости, пытаюсь услышать хотя бы себя, но получала только удары и дыхание. Мёртвая тишина поселилась не в комнате. Она поселилась внутри меня.

Я вспомнила Карину, которая в детстве прибежала после кошмаров и просила говорить, пока не уснёт. Вспомнила Якова, злого подростка, делавшего вид, что не нуждается в колыбельной, но замиравшего за дверью, когда я читала младшим. Что я скажу детям теперь? Как позову, если им будет грозить опасность? Как объясню Якову, что отец жив и одновременно мёртв? От мысли, что мой сын снова услышит мой голос лишь в старых записях, меня скрутило. Я опустилась на холодный пол, прижала кулак ко рту и кричала в него без звука, пока перед глазами не поплыли тёмные круги.

На тумбе лежал блокнот. Я написала: «Меня зовут Дарина». Ниже: «Мои дети живы». Ещё ниже: «Максим жив». Буквы расплылись от слёз. Я повторила его имя десять раз, будто бумага могла сохранить за меня то, что уничтожили в горле. На одиннадцатом ручка прорвала страницу.

Дверь открылась.

Максим вошёл один. Тёмная рубашка, закатанные до локтей рукава, кобура на бедре. Высокий, широкоплечий, собранный до жестокости; короткие тёмные волосы, резкая линия скул, синие глаза, в которых холод выглядел не отсутствием чувств, а способом удержать их под замком. Он закрыл дверь и провернул ключ.

Я огляделась внимательнее. Не камера: окно без решётки, мягкая кровать, стол, вода, отдельная ванная. Но ручка двери отсутствовала изнутри, а под потолком мигал красный глаз камеры.

— Общая тюрьма не подходит для отдельного допроса, — сказал он, заметив мой взгляд.
— Здесь тебя никто не побеспокоит.

«Кроме тебя», — ответила я беззвучно.

Он понял по губам.

— Меня ты должна бояться сильнее остальных.

Я медленно покачала головой.

Это разозлило его. В челюсти заходили желваки, взгляд стал темнее. Максим придвинул стул, сел напротив и положил на стол тонкую папку.

— Скажи что-нибудь.

Я уставилась на него.

— Врач утверждает, что повреждена гортань. Я хочу убедиться, что это не спектакль.

Горечь обожгла сильнее лекарств. Я открыла рот и вытолкнула воздух. Получился слабый порох, почти трение сухих листьев. Боль пронзила шею, на глаза навернулись слёзы. Максим не отвёл взгляда.

— Ещё раз.

Я показала ему средний палец.

— Вот это уже больше похоже на правду.

Он встал и оказался между моих коленей прежде, чем я успела отодвинуться. Пальцы легли под подбородок, подняли лицо. Я замерла. От него пахло холодом, кожей и тем терпким парфюмом, который тело узнало раньше рассудка. По позвоночнику прошла дрожь, соски болезненно напряглись под тонкой больничной рубашкой, а сердце забилося так, словно не он назначил мне суд, не его люди оставили следы на шее, не между нами лежали годы и могилы.

— Боишься? — спросил он.

Я кивнула.

В его глазах мелькнуло удовлетворение, но я прижала ладонь к его груди. Под тканью сердце колотилось бешено, совершенно не совпадая с холодным лицом. Максим посмотрел на мою руку так, будто она разоблачила его перед строем.

Я снова кивнула — теперь на его грудь.

«Ты тоже».

— Не лъсти себе.

Его большой палец прошёл по синяку на моей шее, едва касаясь. От боли я вздрогнула, и он мгновенно ослабил давление. Потом провёл по линии челюсти, остановился у нижней губы. Это не было лаской. Он проверял повреждения, ложь, собственную выдержку — и проигрывал каждую проверку, потому что дыхание стало глубже, а зрачки расширились.

Я коснулась шрама у его виска. Максим перехватил запястье, но не отбросил руку.

— Что ты делаешь?

Я обвела пальцами шрам и вопросительно посмотрела.

— Не твоё дело.

«Всё твоё всегда было моим делом».

Он прочёл это по лицу, потому что вдруг наклонился ближе. Его губы остановились в нескольких миллиметрах от моих. В груди стало тесно, ломало кости, горло горело, но сильнее боли было желание сократить это ничтожное расстояние и разбиться о него окончательно. Максим провёл ладонью по моей талии, словно искал спрятанное оружие, затем ниже — по внешней стороне бедра. Тело отозвалось предательски мгновенно. Я зажмурилась, ненавидя себя за эту отзывчивость, за любовь, которая пережила достоинство и теперь поднималась из пепла от одного прикосновения.

— Твоё тело тебя выдаёт, — прошептал он.

Я открыла глаза и снова прижала ладонь к его сердцу.

«Твоё тоже».

Он почти поцеловал меня. Я почувствовала тепло его дыхания, лёгкое касание носа, напряжение пальцев на бедре. Мир стянулся до его рта, и на одно безумное мгновение мне показалось: сейчас память прорвётся через кожу, он узнает вкус моих губ и всё закончится.

Максим отшатнулся так резко, будто я попыталась его убить.

— Достаточно. Ты действительно не притворяешься.

Слёзы выступили сами — не от несостоявшегося поцелуя, а от того, насколько легко он превратил нашу близость в медицинскую проверку. Я отвернулась, но он успел заметить.

— Жалость к себе плохо сочетается с ролью мученицы.

Я схватила стакан со стола и швырнула в стену. Стекло разлетелось возле его плеча.

— Темперамент на месте, — сухо заметил он. — Жаль, совесть отсутствует.

Максим раскрыл папку. На стол легли фотографии: я возле разрушенного штаба, рядом Андрей; я сажусь в машину Стефана Радича; я в коридоре за несколько минут до взрыва. Следом — распечатки переводов, копии сообщений, протокол с моей якобы подписью.

— Ты передала Вороновым маршрут операции. Через час погибли мои люди.

Я потянулась к бумагам. На одном снимке дата была неверной. На другом тень падала в сторону, невозможную для указанного времени. Я ткнула в несостыковку.

— Монтаж? — спросил Максим. — Предсказуемо.

Я показала на стол, требуя ручку.

Он дал её вместе с чистым листом.

Пальцы дрожали. Я написала: «Я приехала предупредить тебя. Сообщение отправлено с моего телефона после того, как Андрей забрал его. Посмотри полную запись».

Максим прочитал, и лицо его осталось неподвижным.

— Андрей забрал телефон, но ты продолжила ему доверять.

Я дописала: «Он мой брат. Он пытался вывезти меня из здания».

— А Стефан Радич? Он тоже просто пытался помочь?

Ревность прозвучала почти незаметно, спрятанная под вопросом, но я знала Максима слишком хорошо. Увидела, как сильнее сжались его пальцы, как взгляд задержался на фотографии, где рука Стефана лежала у меня на спине.

Я написала: «Он спас мне жизнь».

— Какая трогательная преданность.

«Ты предпочёл бы, чтобы я погибла?»

Он прочёл, поднял глаза.

— Иногда мёртвые доставляют меньше проблем.

Я перечеркнула вопрос и вывела крупно: «ЛЖЁШЬ».

Бумага хрустнула в его руке.

— Ты ничего обо мне не знаешь.

Я написала: «Знаю, как ты держал меня сегодня. Знаю, что едва не убил своего человека. Знаю, как бьётся твоё сердце».

Он вырвал лист, смял и бросил на пол.

— Физиология не является доказательством невиновности.

Я взяла новый. «Как и поддельные записи — доказательством вины».

Максим включил планшет. На экране появилась комната наблюдения, дата перед взрывом. Я стояла напротив Андрея. Звук был чистым до неестественности.

— Его нужно устранить до начала операции, — произнесла моя копия голосом.

Запись оборвалась.

У меня заledenели пальцы. Настоящая фраза звучала иначе: «Его нужно устранить от руководства операцией, пока мы не проверим утечку». Кто-то отрезал середину, сшил слова, превратил попытку спасти Максима в приказ его убить.

Я протянула руку к планшету, но Максим накрыл экран ладонью.

— Не трогай.

Я показала на временной код: между двумя словами пропало семь секунд.

— Сбой камеры.

Я отрицательно качнула головой, нашла в папке фотографию и положила рядом. На снимке часы над дверью показывали другое время. Максим взглянул, и на секунду в его лице возникла трещина — не доверие, ещё нет, лишь раздражение человека, который обнаружил неровность в идеально выстроенной стене.

— Эти материалы прошли проверку.

Я подняла брови: «Тогда зачем ты принёс их мне?»

Он понял. Медленно убрал ладонь с экрана.

— Чтобы увидеть реакцию.

Я написала: «Увидел?»

— Ты умеешь плакать убедительно.

«Я научилась на твоих похоронах».

Максим прочитал, и его взгляд замер. Я продолжила, хотя каждое слово выворачивало внутренности: «Гроб был закрытым. Мне не дали тела. Я положила внутрь твою рубашку. Ту, в которой ты впервые обнял Якова как сына».

— Прекрати.

«Я приходила к могиле каждую неделю».

— Это не относится к делу.

«Относится. Предатели не разговаривают с могилами тех, кого предали».

Он вырвал лист и разорвал. Полосы бумаги упали между нами, но я уже взяла новый.

«Карина перестала спать. Яков дрался с каждым, кто произносил твоё имя. Остальные дети спрашивали, почему отец обещал вернуться и солгал».

— Хватит использовать детей.

Я ударила ладонью по столу и написала крупнее: «Это ты используешь их как доказательство моей измены».

Максим отвернулся к окну. Его спина была прямой, плечи напряжёнными. Я видела, как глубоко он вдохнул, как медленно выдохнул. Потом он сказал, не глядя:

— В материалах указано, что часть детей может быть не от меня.

Ревность, наконец, показала зубы. Не только к Стефану — к годам, которых Максим не помнил; к детям, которых у него отняли; к каждому мужчине, способному стоять рядом со мной вместо него. Я подошла и положила перед ним лист: «Тебе солгали».

— Все?

«Все».

— Даже о Радиче?

Я написала: «Стефан не отец моих детей».

Максим прочитал дважды.

— Но был рядом.

«Когда тебя не было».

— Удобно заменил погибшего мужа.

Я так резко подняла голову, что шею пронзила боль. Написала: «Тебя невозможно заменить».

Он усмехнулся, но усмешка получилась мёртвой.

— Красивый ответ.

«Уродливая правда. Я пыталась жить дальше и не смогла».

— Однако жила.

«Ради детей. Не ради другого мужчины».

Максим подошёл ближе. Ревность делала его взгляд почти чёрным, и от этой ревности во мне смешались боль и безумная, постыдная радость: человеку, которому якобы всё равно, было нестерпимо представить меня чужой.

— Если выяснится, что ты лжёшь...

Я дописала: «Ты всё равно уже вынес приговор».

— Нет. Приговор вынесли факты.

«Факты не ревнуют к Стефану».

Его пальцы сомкнулись на листе. Он не разорвал его сразу. Сначала посмотрел на меня — долго, тяжело, так, будто хотел наказать за точность. Потом медленно разорвал надвое.

Я быстро написала объяснение, указала на скачок времени в углу экрана.

— Экспертиза подтвердила подлинность.

«Чья экспертиза? Лиса?»

Максим вырвал лист и разорвал пополам.

Я взяла следующий. «Ты доверяешь ему больше, чем себе».

Ещё один разрыв.

«Он показывает тебе только то, что делает тебя его оружием».

Бумага разлетелась белыми кусками.

Я писала быстрее, царапая лист так сильно, что рвался под ручкой: о звонке, который пыталась сделать; о людях, вытащивших меня из здания; о возвращении к огню; о том, как искала его среди обломков голыми руками, сдирала ногти, кричала, пока не сорвала голос ещё тогда. Максим читал несколько строк и рвал. Читал — и уничтожал. Каждая разорванная страница была маленькой казнью: моей памяти, нашей жизни, женщины, которая пятнадцать лет разговаривала с его могилой и теперь не могла быть услышана живым.

Наконец я выхватила у него папку и ударила по столу. Хотела закричать. Из горла вышел только болезненный воздух.

— Именно этого ты добивалась? — спросил он тихо. — Чтобы я поверил телу и забыл факты?

Я замерла.

Он наклонился через стол.

— Ты была рядом со Стефаном. Жила под защитой Вороновых. Растила детей, происхождение которых от меня скрывали. А теперь являешься и касаешься меня так, будто имеешь право.

Я написала: «У меня есть право. Я твоя жена».

— Жена не отдаёт мужа на убой.

«Муж не судит жену по обрезанной записи».

Он порвал и этот лист.

Слёзы уже не текли — они стояли в глазах, делая его лицо зыбким. Мне хотелось ударить его, обнять, заставить приложить ладонь к моей груди и почувствовать, сколько лет там билось его имя. Но у меня отняли голос, а он методично отнимал письменные слова.

— Суд состоится, — сказал Максим. — Там будут представлены документы, свидетели и записи. Если у тебя есть объяснение, подготовь его.

Я посмотрела на белое кладбище разорванных листов у его ног.

Он проследил за взглядом.

— Убедительное объяснение.

Я медленно поднялась. Боль прошла по горлу и рёбрам, комната поплыла, но я заставила себя подойти. Максим не отступил. Мы стояли так близко, что я видела тонкую пульсацию жилки на его шее. Я подняла ладонь, однако не коснулась — остановила возле лица, оставляя выбор ему.

На мгновение Максим сам подался вперёд. Всего на долю сантиметра. Достаточно, чтобы кожа встретила мою ладонь.

Потом он отшатнулся и схватил папку.

— Отдыхай. Завтра начнётся подготовка к суду.

Он пошёл к двери.

Я вернулась к столу, взяла последний лист и написала пять слов. Не объяснение. Не оправдание. Единственную правду, которую невозможно было смонтировать без того, чтобы она перестала быть моей.

Подошла к Максиму и протянула лист.

Он хотел пройти мимо, но всё же прочитал.

«Я никогда тебя не предавала».

Под фразой дрогнула чернильная точка. Я держала ручку слишком долго, словно могла дописать туда всю нашу жизнь: первую встречу, его невозможную нежность, рождение детей, наши ссоры, постель, кровь, похороны без тела и пятнадцать лет ожидания. Но любое объяснение он снова назвал бы манипуляцией. Поэтому остались пять слов — голых, беззащитных, страшнее признания в любви. Любовь можно объявить болезнью. Верность пришлось бы либо принять, либо уничтожить вместе со мной.

Максим перевёл взгляд с листа на синяки у меня на шее. В его глазах мелькнуло что-то настолько болезненное, что я почти услышала треск его внутренней брони. Он поднял руку, будто хотел снова коснуться повреждённой кожи, но остановил пальцы в воздухе.

Я сама сделала последний шаг и прижалась горлом к его ладони. Не боясь. Доверяя ему самое уязвимое место после того, как его люди едва не убили меня. Пальцы Максима дрогнули и разжались, словно прикосновение обожгло.

Лицо его осталось холодным. Только рука на дверной ручке побелела от напряжения.

— Все предатели говорят одинаково.

Я покачала головой и указала на его сердце.

Максим открыл дверь, вышел и запер её снаружи.

Я осталась в мёртвой тишине, среди клочков собственной правды. Но последний лист он не разорвал.

Он унёс его с собой.

Глава 5

Когда дверь открылась, я уже знал: за мной пришли не убивать.

Для смерти не приносят чистую рубашку.

Охранник бросил её на койку, даже не взглянув в мою сторону. Белая, выглаженная, ещё пахнущая упаковкой — нелепо праздничная вещь в камере, где стены впитали чужой пот, кровь и бессонницу. Я сидел на полу, прислонившись затылком к бетону, и считал удары собственного сердца, потому что после захвата это оставалось единственным, что у меня пока не отняли.

— Переодевайся, — приказал охранник.

— А цветы будут? Я рассчитывал хотя бы на букет перед казнью.

Он ударил дубинкой по решётке.

— Господин Лис ждёт.

Имя прозвучало хуже приговора. О Лисе говорили шёпотом даже люди, которые не боялись произносить имена мёртвых. Он не ломал кости сам — он убеждал человека, что тот родился сломанным, а потом любезно предлагал выбрать форму обломков.

Я поднялся. Рёбра отозвались тупой болью, запястья жгло под коркой засохшей крови. Перед глазами на секунду возникла мама — не та несокрушимая Дарина, которую боялись вооружённые мужчины, а женщина, поправляющая мне воротник перед первым школьным праздником. Она усыновила меня, когда могла пройти мимо, отдала мне фамилию, дом и ту часть сердца, которую я потом столько лет делал вид, что не замечаю. Моим биологическим отцом был Максим. Но матерью — единственной, настоящей — стала она. Никакой анализ не мог изменить ни одного из этих фактов.

— Где Дарина? — спросил я.

— Переодевайся.

— Восхищён широтой вашего словарного запаса.

Дубинка вошла под рёбра. Я согнулся, но не упал. Охранник улыбнулся, и мне захотелось выбить ему зубы, однако я только снял грязную рубашку. Если Лис решил поговорить лично, значит, ему что-то требовалось. А человек, которому ты нужен, уже держит нож за рукоять неправильно: лезвие направлено и на него.

Меня провели через три коридора и стеклянный переход. За окнами серел двор, по которому двигались колонны людей. На дальней площадке стояла машина Максима. Я узнал её по вмятине на двери, оставленной во время захвата. Значит, отец был рядом.

Слово всё ещё царапало изнутри.

Отец.

Для него оно ничего не значило. Для меня тоже не должно было. Появление общей крови не отменяло лет, когда я учился жить без него, не превращало чужого человека в родного по щелчку. Но я помнил, как он прикрыл меня собой, как приказал дышать, как произнёс «Яша» голосом мужчины, который не узнавал сына и всё равно боялся его потерять. Тело Максима вспомнило раньше сознания. Наверное, именно поэтому Лис так торопился уничтожить всё, что могло помочь памяти.

Кабинет оказался просторным и почти пустым. За длинным столом сидел худощавый мужчина лет сорока пяти, безупречно одетый, с тонкими чертами лица и спокойными светлыми глазами. Лис выглядел не палачом, а врачом, который заранее знает диагноз и лишь позволяет пациенту потратить время на надежду.

— Яков, — произнёс он мягко. — Рад наконец познакомиться без посредников.

— А я надеялся, что вы окажетесь красивее. Злодеям положено компенсировать характер внешностью.

Он улыбнулся.

— Садись.

— Предпочитаю стоять.

— Рёбра предпочитают обратное.

Я сел. Не потому, что он был прав, а потому, что слабость иногда полезнее спрятать внутри послушания.

На столе стояли чайник, две чашки и тарелка с едой. Запах свежего хлеба ударил в желудок, и тот болезненно сжался. Лис налил чай себе, мне не предложил. Мелкое унижение, выверенное до миллиметра: сначала напомнить телу о голоде, затем показать, что даже чашку воды здесь нужно заслужить.

— Ты похож на него, — сказал Лис.

— На охранника? Не оскорбляйте мою мать.

— На Максима.

Я не моргнул.

— Вам виднее. Вы, кажется, специализируетесь на семейных альбомах.

— Он отказался признать тебя.

— Переживу.

— Ты уже пережил одного отца, которого не было. Теперь получил второго, который смотрит на тебя и видит самозванца. Не слишком ли много отвержения для одного мальчика?

Слова вошли точно. Он изучил меня — знал, куда давить. Я позволил лицу дрогнуть, опустил взгляд и медленно сжал пальцы. Пусть думает, что попал глубже, чем на самом деле.

— Зачем я здесь?

— Чтобы спасти семью.

Лис развернул ко мне планшет.

На экране был оперативный зал. Максим стоял у карты, окружённый офицерами. Камера снимала сверху, но я сразу узнал его: прямые плечи, тёмная форма, спокойная неподвижность человека, которому не нужно повышать голос, чтобы остальные замолчали.

— Убежище зачистить полностью, — произнёс Максим на записи. — Выживших не оставлять.

Один из офицеров спросил:

— Дарина Воронова может находиться внутри.

Максим даже не повернул головы.

— Приказ не меняется.

Видео оборвалось.

Меня будто ударили под грудину. На несколько секунд я действительно забыл, что передо мной Лис, что каждая эмоция учитывается, взвешивается и будет использована. Я видел только лицо человека, который несколько часов назад нёс маму на руках, а теперь приказывал уничтожить её вместе со всеми.

— Ещё раз, — потребовал я.

Лис запустил запись.

Тот же холодный голос. Те же слова. Та же дата в правом верхнем углу.

Боль поднялась от живота к горлу, раздирая изнутри. Хотелось разбить планшет о стену, добраться до Максима, заставить смотреть на фотографии детей и повторить приказ каждому из них в лицо. Вот тебе Тая. Вот Марк. Вот остальные. Вот Дарина, женщина, которая пятнадцать лет не снимала твоё кольцо. Давай, полковник, скажи снова, что выживших не оставлять.

Но ярость была слишком удобной реакцией. Поэтому я позволил ей появиться только в глазах.

— Где она?

— Дарина жива. Пока.

— Покажите.

— Позже.

— Тогда разговор окончен.

Я поднялся. Охранник у двери шагнул вперёд, но Лис остановил его движением пальцев.

— Она находится в комнате рядом со штабом Максима. Он забрал её из общей тюрьмы. Сердце сбилось.

— Для пыток удобнее?

— Для отдельного допроса, по официальной версии. По неофициальной — твой отец не позволяет никому приближаться к ней без разрешения.

— Он только что приказал её убить.

— Максим противоречив. Это делает его опасным.

— А вас, значит, последовательность делает порядочным?

Лис отпил чай.

— Меня делает полезным ясность цели.

Он открыл другой файл. На экране появились камеры коридора возле маминой комнаты. Максим вышел, запер дверь, остановился, развернул в руке сложенный лист. Несколько секунд смотрел на него, затем убрал во внутренний карман. Кадр был немым, но я узнал мамин почерк, крупные строки.

— Что с её горлом? — спросил я.

— Повреждена гортань. Возможно, голос не восстановится.

Мир качнулся. Я схватился за край стола. В памяти возник мамин смех — тёплый, низкий, когда она по-настоящему счастлива; её голос, произносящий моё имя сердито, ласково, испуганно. Кто-то отнял его, а я сидел в чистой рубашке перед человеком, который сообщал об этом как о технической неисправности.

— Кто это сделал?

— Один чрезмерно усердный командир. Максим едва не убил его.

— Жаль, что едва.

— Вот видишь, в вас есть семейное сходство.

Я наклонился через стол.

— Если она умрёт, я вырву вам позвоночник через горло.

— Сначала придётся выйти отсюда.

— Значит, вам выгодно держать её живой. Иначе мне станет незачем вести себя хорошо. Лис поставил чашку. На его лице не изменилось ничего, но взгляд стал внимательнее.

— Именно о поведении я и хотел поговорить.

Он положил передо мной папку. Внутри — структура командования, фамилии офицеров, схемы доступа, медицинское заключение о состоянии Максима. На последней странице красной линией было подчёркнуто: «посттравматическая нестабильность; риск утраты контроля».

— Ты сможешь устранить его, — сказал Лис.

Я рассмеялся.

— Конечно. А потом вы подарите мне пони и семейную психотерапию.

— Потом Дарина, дети и все задержанные Вороновы выйдут на свободу.

— Почему не сделать это без меня?

— Потому что Максим всё ещё пользуется поддержкой части командиров. Его люди просят жестокость, но не потерю контроля. Нужен свидетель, которого он не сможет объявить агентом противника.

— Я для него самозванец.

— Публично — да. Но он спас тебя, нарушил протокол и запретил допрос. Это заметили. Если ты расскажешь, что Максим назвал тебя сыном, а затем пытался скрыть приступ памяти, сомнения станут доказательством.

Я смотрел на папку. Сделка была выстроена так, чтобы любое решение превратило меня в предателя. Откажусь — под угрозой мама и дети. Соглашусь — помогу Лису убрать единственного человека, способного приказом защитить её от этих палачей.

— А если я соглашусь и вы солжётё?

— Тогда потеряешь то же, что потеряешь при отказе. Но получишь шанс.

— Вы продаёте надежду оптом?

— Только тем, кто достаточно отчаялся платить.

Он нажал кнопку. На экране появилась фотография: мама сидит на кровати, вокруг шеи тёмные синяки, перед ней на полу разорванные листы. Она выглядела маленькой и страшно одинокой. Рядом стоял Максим, склонившись над столом. Даже на неподвижном снимке между ними натянулось что-то живое, болезненное, неразрывное.

— Он ломает её, — сказал Лис. — А ты можешь остановить.

— Покажите детей.

— Они в другом секторе.

— Тогда покажите другой сектор.

— В сделку они входят живыми.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который ты получишь до согласия.

Я откинулся на спинку стула, хотя мышцы живота свело от желания броситься через стол. Перед глазами возникла Тая — упрямая, острая на язык, так похожая на маму, когда та прятала страх за издевательской улыбкой. Марк, который всегда считал себя достаточно взрослым, чтобы защищать остальных, и неизменно забывал, что взрослость не делает кожу пуленепробиваемой. Остальные дети, каждый со своей привычкой, обидой, смешной тайной. Максим подозревал, что они могут быть от Стефана. Лис превратил отцовскую ревность в обвинение, а нас — в сомнительное приложение к чужой биографии.

— Вы сказали ему, что дети не его? — спросил я.

— Я показал документы.

— Поддельные, как тест на моё отцовство?

— Тест на твоё отцовство звучал бы ещё интереснее. Речь шла об отцовстве Максима.

— Вы прекрасно поняли.

Лис позволил себе едва заметную улыбку.

— Отрицание — естественная реакция. Максим тоже предпочёл бы биологию, которая соответствует его желаниям.

— Его желаниям соответствует только приказ и заряженный магазин.

— И Дарина.

Вот теперь он наблюдал особенно внимательно. Я заставил себя усмехнуться.

— Она не соответствует ничьим желаниям. Обычно она их отменяет и назначает свои.

— Ты называешь её матерью.

— Потому что она моя мать.

— Но не родила тебя.

— Рожают телом. Матерью становятся каждый день, особенно в те дни, когда ребёнок делает всё, чтобы его невозможно было любить.

Он постучал пальцем по столу.

— Красиво. А Максим — отец только потому, что дал биологический материал?

Вопрос ударил туда, где я сам боялся смотреть. Я вспомнил, как отец держал меня во время приступа, как его руки знали, что делать, хотя глаза не узнавали. Вспомнил последнюю встречу до исчезновения — обрывками, запахом его куртки, тяжёлой ладонью на голове. Ребёнку достаточно нескольких мгновений, чтобы построить из мужчины целую религию. Взрослому потом не хватает жизни, чтобы окончательно эту религию разрушить.

— Для меня ничего не изменилось, — сказал я.

— Ложь.

— Приятно встретить специалиста. Диплом на стене или тоже смонтирован?

— Ты хотел, чтобы он признал тебя.

— Я хотел, чтобы он не стрелял.

— Поэтому назвал его папой.

Я сжал зубы. Лис знал и это.

— Люди в камере говорят странные вещи.

— Особенно правдивые.

— Даже если Максим мой биологический отец, это не превращает его в человека, который меня вырастил. Этого человека нет. И для меня ничего не изменит ни его кровь, ни ваше враньё.

— Но ты защищаешь его.

— Я защищаю маму. Между этими действиями пропасть.

— Она сама эту пропасть не видит. Для Дарины Максим всегда будет важнее здравого смысла. Возможно, важнее детей.

Я ударил ладонью по столу. Чашка подпрыгнула, вода выплеснулась на папку.

— Не смейте.

Лис спокойно промокнул бумагу салфеткой.

— Вот она, настоящая боль. Не в том, что отец отказался от тебя. В том, что мать снова выберет его.

Меня выворачивало до мурашек вдоль позвоночника, потому что в его словах жила та детская заноза, которую я никогда не вытаскивал. Мама любила нас яростно, самоотверженно, но Максим был её незаживающей раной. Иногда казалось: если он однажды позовёт из могилы, она пойдёт на голос, даже понимая, что оставляет нас на берегу.

Я позволил этой боли проступить на лице. Не всю — только ту часть, которую Лис хотел увидеть.

— Значит, я должен убрать его, чтобы она наконец выбрала нас?

— Ты должен убрать опасного командира, который уже приказал уничтожить вашу семью.

— А заодно освободить её от мужчины, которого она не способна разлюбить.

- Иногда спасение выглядит как предательство.
- Эту фразу вы повторяете перед зеркалом?
- Только перед людьми, достаточно взрослыми, чтобы понять.

Он снова включил фотографию мамы. Она сидела среди разорванных листов, лишённая голоса, а Максим стоял рядом — живое орудие, наведённое на собственный дом. Боль перестала быть чувством и превратилась в мясо, зажатое между рёбрами. Если я ошибусь, они уничтожат друг друга. Если поверю Лису, помогу ему довести дело до конца. Если откажусь, дети останутся заложниками.

В этой комнате не было правильного решения. Было только решение, которое оставляло мне возможность солгать убедительнее.

Я позволил плечам опуститься. Закрыв лицо ладонями, задержал дыхание и вызвал в памяти самый страшный образ: мама пытается позвать меня и не может. Слезы пришли настоящие. Манипулятору труднее отличить игру, когда боль не сыграна, а только направлена в нужную сторону.

- Что я должен сделать? — спросил я глухо.

Лис не улыбнулся. Умные хищники не показывают зубы, когда добыча сама подходит ближе.

— Дать показания комиссии. Рассказать о вспышках агрессии Максима, его провалах памяти, необоснованных решениях. Подтвердить, что он называл тебя сыном, хотя официальный тест исключил отцовство. Затем убедить двух офицеров поддержать временное отстранение.

- И после этого вы отпустите их всех?
- Дарину, детей и Вороновых.
- Письменно.
- Разумеется.
- С перечнем имён.
- Ты быстро учишься.
- У меня талант выбирать плохих учителей.

Лис придвинул чашку воды. Теперь я её заслужил. Я выпил медленно, скрывая лицо за стеклом, и снова посмотрел на остановленную запись. В правом верхнем углу стояло 06:42:18. Максим произносил приказ, затем офицер задавал вопрос. На стене за ними электронные часы показывали 06:47.

Пять минут разницы.

Я попросил воспроизвести ещё раз.

- Хочешь убедиться, что отец действительно чудовище? — спросил Лис.
- Хочу запомнить, за что предаю.

Запись пошла сначала. В момент, когда Максим говорил «зачистить полностью», на столе у его руки лежала папка. Через секунду, в кадре с вопросом офицера, папка исчезла, хотя никто не двигался. Тень от лампы перескочила вправо. Незаметно, если смотришь на лицо. Очевидно, если ищешь шов.

Видео было склеено.

Я почувствовал, как внутри, под болью и яростью, просыпается холод. Мамин холод — тот самый, с которым она улыбалась людям, уже подписавшим себе приговор. Я отвёл глаза прежде, чем Лис прочитал перемену.

- Я согласен, — сказал я.

Он протянул руку.

Я пожал её. Пальцы у него были сухими и прохладными.

- Разумный выбор.
- Нет, — ответил я, заставив голос дрогнуть. — Просто больше не осталось других.

Лис поверил. Или сделал вид, что поверил. В этой комнате каждый из нас изображал сломленного человека: я — сына, готового предать отца; он — спасителя, готового освободить семью.

Охранник повёл меня обратно. У двери я обернулся на планшет. Запись застыла на лице Максима, а под ним продолжал гореть неверный временной код.

Пять минут.

Иногда между ложью и правдой помещается целая жизнь. Иногда — всего пять минут, которых достаточно, чтобы сделать из отца палача, из сына предателя, а из нашей семьи оружие.

Я шёл в камеру, опустив голову, как человек, которого сломали.

И впервые с момента захвата точно знал, где у Лиса проходит шов.

Глава 6

К девяти утра я подготовил для неё три вида наручников, двух охранников и список вопросов, от которых взрослые мужчины начинали плакать уже на третьей странице.

Дарина принесла с собой только молчание.

Когда её ввели в комнату допросов, она не посмотрела ни на камеру под потолком, ни на папки, разложенные передо мной, ни на металлическое кольцо в столе, к которому обычно пристёгивали руки обвиняемых. Смотрела прямо на меня. На шее темнели следы пальцев, разбитая губа уже затянулась тонкой коркой, длинные тёмные волосы были собраны на затылке. Бледная, измученная, слишком красивая для этого серого помещения — и слишком спокойная для женщины, которой предстояло отвечать за смерть моих людей.

Я ждал истерики. Обвинений. Слез, рассчитанных на остатки памяти. Она села напротив и положила ладони на стол.

— Снимите с неё наручники, — приказал я.

Старший охранник замялся.

— Полковник, протокол...

— Протокол не заменяет слух. Я сказал снять.

Металл щёлкнул. На тонких запястьях остались красные полосы. Дарина потёрла их и продолжила смотреть. В этом взгляде не было покорности. Она молчала не потому, что её заставили, а так, словно моей комнате, форме и обвинениям не хватало права на её голос, даже если бы он сохранился.

— Оставьте нас.

Охранники вышли. Я дождался, пока дверь закроется, и включил запись.

— Назови полное имя.

Глупый вопрос. Врач подтвердил повреждение гортани, но мне требовалось увидеть попытку. Убедиться, что вчерашнее беззвучие не было способом уйти от ответов.

Дарина подняла бровь.

Я придвинул блокнот и ручку.

Она написала: «Ты знаешь моё имя».

— Для протокола.

«Дарина Воронова».

— Фамилия мужа?

Её пальцы замерли. Потом она зачеркнула «Воронова» и вывела мою фамилию.

Я вырвал лист и разорвал надвое.

— Не пытайся превратить допрос в семейную сцену.

Она посмотрела на обрывки, затем на меня. Ни слёз, ни возмущения. Только тихая боль, настолько глубокая, что от неё пересохло в горле у меня.

— Где находилась за час до взрыва штаба?

«В здании. Искала тебя».

— На записи ты обсуждаешь моё устранение.

«От командования операцией. Между словами вырезано семь секунд».

— Экспертиза не обнаружила монтажа.

«Экспертиза Лиса?»

Я порвал лист.

Дарина взяла новый, написала: «Почему тебя так злит его имя рядом со словом “ложь”?»

Ещё один разрыв.

— Ты здесь не задаёшь вопросы.

Она вывела: «Тогда зачем ты оставил нас одних?»

Бумага хрустнула в пальцах. Я хотел сказать: потому что никто не должен видеть, как реагирует моё тело на её присутствие. Потому что, когда охранник коснулся её локтя, мне пришлось приказать себе не ломать ему руку. Потому что её запах превращал аккуратно вложенные воспоминания в плохо подогнанные детали чужого механизма. Вместо этого я бросил обрывки на край стола.

— Кто предупредил Вороновых о маршруте?

«Не я».

— Кто передал коды доступа?

«Не знаю».

— Кто заложил взрывчатку?

«Не знаю».

— Удобная амнезия.

Она написала: «Твоя удобнее».

Я разорвал лист медленно, глядя ей в глаза.

— Ты считаешь меня больным?

«Я считаю тебя раненым».

— Разницы нет.

«Для палача — нет. Для жены — есть».

Лист разлетелся на четыре части.

Она вздрогнула, но не отвела взгляда. Я чувствовал себя человеком, который режет чужую кожу и почему-то обнаруживает раны на собственном теле. Каждый клочок бумаги падал между нами, а внутри отзывался необъяснимой ломотой, словно я уничтожал не манипулящую обвиняемой, а куски собственной памяти.

— Сколько у тебя детей?

Дарина напряглась.

«Ты знаешь».

— Хочу услышать твою версию.

«Версия бывает у следствия. У матери есть дети».

— Яков — твой сын?

«Мой».

— Ты его родила?

Её лицо побелело ещё сильнее. Она написала крупно: «Я ЕГО ВЫРАСТИЛА».

— Это не ответ.

«Это единственный ответ, который имеет значение».

Я смял лист, но не порвал сразу.

— Он утверждает, что его отец — я.

«Потому что это правда».

— Анализ исключил отцовство.

«А сердце?»

Я разорвал бумагу так резко, что край полоснул палец. Выступила кровь.

Дарина мгновенно потянулась ко мне. Я перехватил её запястье прежде, чем ладонь коснулась моей руки.

— Сиди.

Она посмотрела на тонкую красную линию у меня на пальце, потом на синяки у себя на шее и горько улыбнулась. Сравнение было унижительным: я защищался от её заботы после того, как не защитил её от пытки.

— Кто отец остальных детей? — спросил я.

В серо-голубых глазах вспыхнул гнев.

«Ты».

— Всех?

«Да».

— Стефан Радич?

Она с силой вдавила ручку в бумагу: «НЕ ОТЕЦ».

— Но был рядом с тобой.

«Пока тебя считали мёртвым».

— Спал с тобой?

Ручка остановилась. Она подняла на меня взгляд, в котором появилось не смущение — презрение.

«Это относится к обвинению во взрыве?»

— Относится к достоверности свидетельницы.

«Нет. Это относится к ревности мужа».

Я уничтожил лист, но поздно. Фраза уже вошла под кожу. Представление о чужих руках на её талии, чужом рте на губах, которые моё тело помнило во сне, вызвало такую ярость, что ломило кости пальцев. Мне пришлось разжать кулак.

Дарина увидела.

«Факты снова ревнуют?» — написала она.

Я выхватил бумагу.

— Ты пытаешься вызвать физиологическую реакцию и выдать её за доказательство прошлого.

Она написала на новом листе: «Нет. Я пытаюсь показать, что прошлое уже внутри тебя».

Я порвал.

«Почему ты носишь мой лист во внутреннем кармане?»

Рука сама дёрнулась к груди. Ошибка. Её взгляд мгновенно стал мягче.

Вчерашняя записка лежала там с ночи: «Я никогда тебя не предавала». Я сказал себе, что сохранил улику. Потом — образец почерка. Потом перестал придумывать объяснения и просто не смог выбросить.

— Следственный материал.

Она протянула ладонь, требуя вернуть.

— Нет.

«Почему?»

— Потому что он принадлежит делу.

«Лжёшь».

Лист порвался с неприятным сухим треском.

Дарина закрыла глаза. Впервые за весь допрос её выдержка дала трещину: подбородок задрожал, пальцы сжались вокруг ручки, по щеке скользнула слеза. Она быстро стёрла её, будто стыдилась подарить мне даже это доказательство боли.

— Наконец, — сказал я жестче, чем хотел. — Настоящая реакция.

Она долго смотрела на меня, затем написала: «Ты хотел слёз? Возьми. Я пятнадцать лет плакала над твоей могилой. Для тебя хватит».

Я прочитал дважды.

— Где тело?

«Мне не отдали».

— Тогда почему поверила в смерть?

«Потому что показали доказательства. Такие же убедительные, как ты показываешь мне сейчас».

Рука с листом замерла. Она заметила, как фраза попала, и не отвела глаз.

— Ты сравниваешь моё расследование с заговором?

«Я сравниваю нашу доверчивость».

Я порвал записку. Потом следующую, где она написала о закрытом гробе. Следующую — о рубашке, положенной вместо тела. Следующую — о детях, которые ждали моего возвращения. Я уничтожал каждое объяснение, потому что, пока бумага оставалась целой, слова обладили формой, весом, возможностью стать правдой. Обрывки были безопаснее.

Дарина писала быстрее. О том, как вернулась к горящему штабу. Как искала меня среди обломков. Как Андрей тащил её силой, а она вырывалась. Как Стефан помог вывести раненых, но не заменил мужа. Как Яков рос с моими жестами, не зная, откуда они. Как Тая впервые спросила, почему у неё мои глаза. Как Марк ненавидел фотографии, потому что на них я оставался молодым, а дети выросли без меня.

Я рвал.

Она писала.

Я развернул к ней фотографию уничтоженного убежища.

— Здесь погибли двенадцать человек. Трое служили со мной до взрыва. Ты знала их имена?

Дарина долго рассматривала снимок, затем написала: «Сергей Калинин. Олег Рудов. Тимур Сафиуллин».

Я замер. В отчёте были указаны только фамилии.

— Откуда?

«Я помогала вытаскивать тела».

— Удобный способ узнать погибших.

Она прижала ручку к бумаге так сильно, что побелели пальцы: «У Сергея была фотография дочери в нагрудном кармане. Олег ещё дышал и просил передать жене, что не испугался. Тимур умер у меня на руках, пока я зажимала рану».

Я видел эти фотографии в закрытом архиве. Видел заключения, где время смерти совпадало с её словами. Но архив мог быть украден, сведения — переданы. Для каждой правды находилось безопасное объяснение, если достаточно сильно боишься ей поверить.

— И при этом ты защищаешь Вороновых, которые организовали нападение.

«Я защищаю тех, кто не виноват».

— Решила заменить собой суд?

«Нет. Пытаюсь вернуть суду зрение».

Я порвал лист.

Она написала: «Ты всегда ненавидел слепое подчинение».

— Ты рассказываешь мне, что я любил и ненавидел, будто составляешь инструкцию к оружию.

«Я напоминаю человеку, кем он был».

— А если этого человека никогда не существовало?

Ручка остановилась. Дарина подняла глаза, и в них появилась такая боль, что меня вывернуло до мурашек вдоль позвоночника.

«Тогда кого я любила?»

— Возможно, собственную выдумку.

Она написала медленно: «Выдумка не держала меня за волосы, когда меня тошнило во время беременности. Не спала на полу возле детской кроватки. Не учила Якова завязывать шнурки. Не плакала, думая, что я не вижу».

— Я не плачу.

«Плакал. Один раз. Когда решил, что не достоин детей».

Я разорвал бумагу, но пальцы задрожали. В голове вспыхнула белая детская комната, маленькая ладонь, зажатая в моей, и влажное тепло на щеке. Образ был слишком коротким, чтобы стать воспоминанием, слишком настоящим, чтобы считать фантазией.

— Что ты со мной делаешь?

Дарина побледнела. Написала: «Ничего. Ты вспоминаешь».

— Не произноси это как победу.

«Для тебя это боль. Для нас — возвращение».

— Для кого «нас»?

Она начала перечислять имена детей. Каждое выводила отдельно, будто клала передо мной живого человека, а не аргумент. Я прочитал Таю, Марка, остальных — и поймал себя на том, что представляю лица из досье. В материалах Лиса они были строками: возраст, риск, предполагаемое происхождение. В её почерке становились детьми, которые ждали отца.

Я разорвал список.

Дарина закрыла рот ладонью. Слезы хлынули внезапно, без красивой паузы. Она наклонилась, собирая обрывки, прижимала их к груди, будто я только что разорвал фотографии детей. Плечи тряслись, но ни звука не было. Её безмолвный плач оказался страшнее истерики, которую я ожидал: он не требовал зрителя, не торговался, не давил на жалость. Он просто происходил, потому что боль больше не помещалась внутри.

Я обошёл стол.

— Это всего лишь бумага.

Дарина резко подняла голову и написала на уцелевшем углу: «Для тебя — да».

— Имена существуют независимо от листа.

«Тогда не позволяй Лису вырвать их из твоей жизни».

Я отступил, словно она ударила.

— Ты используешь детей.

«Нет. Я прошу отца увидеть их».

— Я не их отец.

Она посмотрела на меня так прямо, что ложь застряла между рёбрами.

«Скажи это, глядя каждому в глаза».

— На суде скажу.

«Нет. На суде ты будешь смотреть на документы. Посмотри на них».

Она подтолкнула ко мне один из снимков, лежавших в папке: семейная фотография. Дарина в центре, вокруг дети. Рядом Стефан, чуть в стороне, его ладонь на спинке кресла, не на ней. В материалах кадр был обрезан так, что рука казалась лежащей на её плече. Я заметил это впервые.

— Случайный ракурс.

«Случайно обрезанный Лисом?»

Я разорвал записку, но фотографию оставил.

— Почему Радич на семейном снимке?

«Потому что помогал семье».

— Слишком часто он помогал именно тебе.

Она устало прикрыла глаза и написала: «Ты снова ревнуешь».

— Я проверяю мотивы.

«Свое сердце проверь».

Я ударил ладонью по столу. Она не вздрогнула.

— Ты хочешь, чтобы я поверил: пятнадцать лет жила без мужчины, оставаясь верной мертвецу?

Дарина написала: «Я хочу, чтобы ты поверил не в мою святость, а в свою незаменимость».

Эта фраза оказалась жестокой точнее любого обвинения. Она не делала себя безупречной — делала меня единственным. А я не знал, что страшнее: поверить ей или признать, что женщина могла принести мне такую верность, а я ответил судом.

Я разорвал лист на мелкие куски. Дарина смотрела, как они падают, и слёзы снова текли по лицу.

Белые ключья покрыли стол и пол. Комната превратилась в кладбище фраз, а я — в палача, который боялся не её лжи, а того, что среди этих слов окажется одно, способное вернуть меня к жизни.

Наконец ручка выпала из её пальцев. Дарина прижала ладонь к горлу. Лицо исказила боль, дыхание стало поверхностным.

Я поднялся прежде, чем успел решить.

— Что с тобой?

Она отмахнулась.

— Врача?

Отрицательный жест.

Я налил воду, поставил перед ней. Дарина не взяла. Тогда сам поднёс стакан к её губам. Она посмотрела на меня с тихим потрясением — так, будто жест был интимнее поцелуя. Её губы коснулись стекла возле моих пальцев. Тело отозвалось жаром, совершенно неуместным в комнате допросов.

— Пей.

Она сделала несколько глотков. Капля воды осталась у уголка рта. Я стёр её большим пальцем и только потом понял, что сделал.

Дарина замерла. Я тоже.

Моя ладонь знала линию её лица. Пальцы сами легли под подбородок, осторожно, обходя синяки. В памяти вспыхнуло: тёмная спальня, её смех, мои губы на этой шее. Образ исчез раньше, чем я успел ухватить.

Я отдёргнул руку.

— Манипуляция окончена.

Она взяла ручку и написала: «Ты сам подошёл».

Лист был разорван.

Я вызвал охрану.

Когда дверь открылась, Дарина собрала пустой блокнот, но я забрал его.

— Материалы допроса остаются здесь.

Она написала на последней половине страницы: «Тогда оставь и меня. Я тоже материал твоего прошлого».

Я уничтожил записку, не дочитав охранникам.

— Увести.

Дарина встала. У двери остановилась и обернулась. Я ждал ненависти, проклятия, хотя бы презрения. Она посмотрела так, как смотрят на тяжело больного человека: с болью, надеждой и невозможным терпением.

Потом ушла.

— Убрать здесь, — приказал я охраннику.

Он наклонился к обрывкам.

— Не трогать.

Мужчина выпрямился.

— Но вы приказали...

— Вон.

Дверь закрылась. Я остался среди бумажного мусора, который сам создал. Несколько минут сидел неподвижно, убеждая себя, что клочки могут содержать шифр, признание, важную деталь. Затем опустился на колени и начал собирать их руками.

Каждый обрывок был частью её голоса. Наклон букв, продавленная бумага, след от слезы. Я раскладывал фразы на столе, совмещал рваные края. «Ты доверяешь ему...» — другой кусок потерялся. «Дети ждали...» — не хватало середины. «Стефан не...» — продолжение лежало под стулом, но я отбросил его, ненавидя одно имя.

Работа затянулась до ночи.

Штаб стих. За окном шёл снег, лампа резала комнату жёлтым кругом. Я снял кобуру, закатал рукава и продолжал восстанавливать уничтоженное мной же, словно мог собрать собственную память тем же способом: совместить неровные края, найти правильный порядок и обнаружить, кто вырезал из жизни пятнадцать лет.

В половине третьего сошлись четыре клочка. Почерк Дарины. Верхняя строка была стёрта, нижняя сохранилась полностью.

«Ты спасал нас, даже когда мы считали тебя врагом».

Я прочитал фразу вслух.

Голос прозвучал чужим.

Я попытался представить обстоятельства, при которых человек спасает тех, кто считает его врагом. Не ради благодарности, не ради имени, не ради власти — просто потому, что иначе не может. В досье такого Максима не существовало. Там был командир, преданный своими, переживший покушение и выживший благодаря Лису. Но рука, подхватившая Дарину со снега, не спрашивала документов. Как и руки, удержавшие Якова во время приступа. Возможно, тело не вспоминало. Возможно, оно всё это время единственное не позволяло мне окончательно стать чужим.

Если она лгала, зачем признавалась, что считала меня врагом? Почему не сделала прошлое красивее? Почему написала «спасал», если в представленных материалах я только разрушал?

Я достал из внутреннего кармана вчерашний лист: «Я никогда тебя не предавала». Положил рядом с восстановленной фразой. Две улики, которые не собирался хранить. Две трещины в стене, построенной Лисом.

Телефон на столе завибрировал. Сообщение от Лиса: «Завтра комиссия заслушает Якова. Он готов дать показания о вашей нестабильности».

Я смотрел на имя сына, затем на слова его матери.

Официальный тест утверждал, что оба мне чужие.

Но впервые я поймал себя на мысли, что чужим в этой истории мог быть только человек, которому я доверял.

Глава 7

Удушье началось не с боли.

Сначала комната стала меньше. Стены медленно сдвинулись, потолок опустился, воздух загустел и перестал проходить сквозь повреждённое горло. Я сидела на кровати с блокнотом на коленях, пыталась записать имена детей, чтобы не дать страху ни одного свободного места внутри головы, но буквы поплыли, а ручка выпала из пальцев.

Я вдохнула.

Воздух остановился у ключиц.

Ещё раз. Ничего.

Паника рванула из живота вверх, впилась когтями под рёбра. Перед глазами возник снег, тяжёлый ботинок возле лица, чужие пальцы, сдавливающие шею. Я снова была там — на коле-

нях, связанная, униженная, с раскрытым ртом, из которого вырывался животный хрип. Только теперь не было даже хрипа.

Я ударила ладонью по двери. Раз. Второй. Третий. Звук получился жалким, почти вежливым, а мне хотелось разбить металл лбом, заставить весь штаб услышать, как молчаливая женщина умирает в комнате рядом.

Замок щёлкнул.

Максим вошёл с пистолетом в руке, готовый встретить нападение. Увидел меня на полу и замер.

Я схватилась за ворот рубашки, дёрнула ткань, показывая: не могу дышать. Его лицо изменилось мгновенно. Исчезли холод, подозрение, тщательно надетое равнодушие. Он убрал оружие и опустился передо мной на колени.

— Дарина. Смотри на меня.

Я смотрела. В синие глаза, которые столько раз были моим домом и столько же — приговором.

— Медленный вдох.

Я покачала головой, вцепилась ему в предплечье. Воздуха не было. Лёгкие горели, сердце билось о рёбра так, словно пыталось само вырваться наружу и вдохнуть за меня.

— Врача сюда! — рявкнул Максим в коридор.

Потом обхватил моё лицо ладонями.

— Не закрывай глаза. Дыши со мной.

Он вдохнул медленно, заставляя повторить. Я попыталась. Горло сомкнулось. Перед глазами потемнело.

Максим прижал меня к груди, одну ладонь положил между лопаток, второй удерживал затылок.

— Дыши, девочка. Дыши.

Мир остановился.

Так он говорил раньше. В те ночи, когда я просыпалась от кошмаров; в больничной палате; во время родов, когда меня выворачивало от боли, а он держал за руку и требовал остаться с ним. Не «обвиняемая». Не «Воронова».

Девочка.

Я подняла голову. Максим тоже понял, что сказал. Но оттолкнуть не успел: в комнату вбежали врач и медсестра.

— На кровать, быстро.

Максим поднял меня сам. Уложил, не выпуская запястья, пока врач прикладывал датчик к пальцу.

— Сатурация девяносто восемь, — сказал тот. — Дыхательные пути свободны.

— Она задыхается, — процедил Максим.

— Вижу. Дарина, слышите меня? Вдох носом. Выдох через губы.

Я хотела рассмеяться: «Слышите меня?» Какая жестокая ирония — все слышали меня только тогда, когда я не могла ответить. Вместо смеха пришли слёзы. Я повторила за врачом. Вдох получился рваным, но воздух наконец прошёл.

Максим стоял у кровати, напряжённый так, словно врач оперировал не меня, а вскрывал его грудную клетку без наркоза.

— Выйдите, полковник, — попросил врач. — Нужно осмотреть шею.

— Нет.

— Пациентке может быть некомфортно.

Максим посмотрел на меня.

Я покачала головой: пусть остаётся.

— Она не возражает.

Врач расстегнул верхние пуговицы моей рубашки, осторожно провёл пальцами по гортани. Я вздрогнула от боли. Максим сделал шаг ближе.

— Осторожнее.

— Я осторожен.

— Недостаточно.

Врач поднял на него уставший взгляд.

— Хотите осматривать сами?

— Хочу, чтобы она снова дышала.

Слова ударили под рёбра. Он произнёс их не как командир, которому нужен живой свидетель. Как мужчина, уже однажды опоздавший и не способный пережить повторение.

После обследования врач снял перчатки.

— Есть отёк, повреждены мягкие ткани, гортань травмирована. Но физическое состояние не объясняет полного отсутствия голоса и этот приступ. Большая часть симптомов связана с острой психической травмой.

— То есть она может говорить? — спросил Максим.

— Не так просто. Организм блокирует функцию, связанную с пережитым насилием. Она не выбирает молчание сознательно.

— Удобный диагноз.

Врач нахмурился.

— Это не удобство, полковник. Это болезнь.

— Которую невозможно измерить.

— Как вашу амнезию?

Тишина стала тяжёлой. Максим медленно повернул голову.

— Моя амнезия подтверждена обследованиями.

— Как и повреждение её гортани. Но вы охотно признаёте невидимую травму у себя и называете симуляцией такую же травму у неё.

— Я не просил психоанализа.

— А она не просила, чтобы её душили.

Максим шагнул к врачу. Тот не отступил, хотя побледнел. Я потянулась и схватила Максима за руку. Он посмотрел на мои пальцы, сомкнувшиеся на его запястье, и остановился. Не врач. Я остановила.

— Видите? — тихо сказал доктор. — Даже сейчас она успокаивает вас, а не себя.

Я отпустила Максима, словно прикосновение разоблачило что-то слишком личное.

Врач присел рядом и обратился ко мне:

— Приступы уже случались?

Я написала: «После его смерти».

Максим прочитал через плечо.

— Я не умирал.

«Мы не знали».

— Часто? — спросил врач.

«Первый год. Потом, когда дети болели. Когда снился взрыв».

— Что помогало?

Ручка замерла. Я не хотела писать правду при нём, но Максим ждал.

«Его голос».

— Мёртвого человека? — спросил он.

«Записи. Я включала их и дышала».

В его лице что-то дрогнуло.

— У тебя сохранились записи моего голоса?

«Все».

— Зачем?

Я написала: «Чтобы дети не забыли. Чтобы я не забыла».

Максим выхватил блокнот, прочитал ещё раз и положил так резко, что ручка покатилась на пол.

— Это может быть частью фиксации, — сказал врач. — Травматическая привязанность усиливает симптомы.

— Вы хотите сказать, что она задыхается из-за меня?

— Я хочу сказать, что рядом с вами её организм одновременно ждёт спасения и угрозы. Такое противоречие разрушает нервную систему.

Слова повисли между нами. Максим смотрел на следы пальцев у меня на шее, и я видела, как его выворачивает изнутри: он хотел быть спасением, но принёс угрозу; хотел считать меня врагом, но первым прибежал на стук.

— Голос восстановится? — спросил он.

— Возможно. Когда тело перестанет ждать повторения.

— Когда?

— У психики нет военного расписания, полковник.

Максим стиснул челюсть.

— Сделайте всё необходимое.

— Для начала перестаньте допрашивать её после приступов.

— Это невозможно.

— Тогда хотя бы перестаньте убеждать её, что боль выдумана.

— Осторожнее с формулировками.

— Осторожнее следовало быть человеку, который душил её. Сейчас ей нужен покой, наблюдение и чувство безопасности.

Максим усмехнулся без улыбки.

— Она находится под обвинением в терроризме. Безопасность не входит в приговор.

Я отвернулась к стене. Вот так. Несколько минут назад держал меня, называл девочкой, дышал за двоих — а теперь снова прятался за обвинением.

Врач оставил лекарства и ушёл с медсестрой. Максим остался.

Я взяла блокнот: «Ты слышал врача».

— Слышал теорию, которую невозможно проверить.

«Думаешь, я притворяюсь?»

— Ты достаточно умна, чтобы использовать травму.

«И достаточно глупа, чтобы позволить твоим людям сломать мне горло?»

Он выхватил лист и смял.

— Не называй их моими людьми. Виновный арестован.

«Но пришли они по твоему приказу».

Максим отвернулся. Взгляд упал на разбросанные лекарства.

— Прими.

«Это приказ?»

— Да.

«Тогда не буду».

Он посмотрел с яростью, но в глубине глаз мелькнуло что-то почти живое.

— Ты всегда была невыносимой?

Я написала: «Особенно для тебя».

— Наконец правдоподобный ответ.

Несмотря на боль, я улыбнулась. Его губы дрогнули в ответ — едва заметно, на одну страшную секунду. Потом лицо снова стало холодным.

Он подал таблетку и стакан. Я приняла. Максим придвинул кресло к кровати.

«Зачем остаёшься?»

— Врач сказал наблюдать.

«Позови охранника».

— Нет.

«Почему?»

— Потому что я так решил.

У любого страха Максима всегда был голос приказа.

Лекарство размыло края комнаты. Я лежала, слушая его дыхание. Каждый раз, когда закрывала глаза, пальцы снова сжимались на шее, и я резко просыпалась. Максим не двигался, но взгляд неизменно был на мне.

После второго приступа он встал и проверил замок, окно, вентиляционную решётку, словно удушье могло прятаться там с оружием. Потом убрал со стола стеклянный стакан, отодвинул лекарства подальше от края, осмотрел каждый угол. Так Максим всегда боролся с тем, чего не мог контролировать: превращал страх в периметр безопасности.

Я написала: «Комната рядом с твоим штабом».

— Для отдельного допроса.

«И кресло возле моей кровати тоже для допроса?»

— Для наблюдения.

«Ты наблюдаешь, как я дышу».

— Я наблюдаю, не пытаешься ли ты устроить новый спектакль.

«Тогда почему испугался?»

Он посмотрел на меня так, будто вопрос был оружием.

— Я не испугался.

«Ты назвал меня девочкой».

Максим забрал блокнот, вырвал страницу и сложил вчетверо. Не порвал — сунул в карман.

«Зачем забрал?» — написала я на следующей.

— Материал дела.

Я беззвучно рассмеялась. Боль пронзила горло, пришлось прижать ладонь к шее.

Максим мгновенно оказался рядом.

— Где болит?

Я указала на горло, потом на грудь.

Он нахмурился.

«Второе не лечится таблетками».

— Всё лечится.

«Тогда почему ты до сих пор болен мной?»

Лист разлетелся пополам, но дыхание Максима стало тяжелее.

— Ты слишком уверена в собственной значимости.

«А ты поставил возле меня кресло».

— Чтобы не пришлось снова вызывать врача.

«Конечно».

Он сел так резко, что кресло скрипнуло.

— Закрой глаза.

Я послушалась. Не потому, что приказал. Потому что голос снова обрёл тот оттенок, которым когда-то укрывал меня лучше одеяла.

— Спи, — сказал он после третьего пробуждения.

Я написала на блокноте: «Боюсь».

— Здесь никто тебя не тронет.

«Ты здесь».

Он прочитал и откинулся в кресле.

— Меня ты должна бояться.

Я вывела: «Тело не боится».

Максим смял лист, но не ответил.

Через некоторое время я всё-таки уснула. Проснулась от тишины — другой, не мёртвой, а тёплой. Лампа у кровати горела вполсилы. Максим спал в кресле, запрокинув голову. Впервые я видела его без брони: резкие черты смягчились, между бровями осталась усталая складка, руки лежали на подлокотниках. Даже во сне он выглядел опасным, но не чужим.

Я поднялась. Подошла босиком, боясь разбудить. Коснулась коротких тёмных волос, провела пальцами к виску, где белел шрам. Максим не проснулся. Его лицо повернулось к моей ладони. Он прижался щекой, едва заметно, как человек, слишком долго лишённый тепла.

Слёзы обожгли глаза.

Я погладила его по скуле. Потом по губам, которые когда-то знали каждый сантиметр моего тела. Он выдохнул моё имя.

— Дарина...

Не обвинение. Не вопрос. Почти молитва.

Я наклонилась и коснулась лбом его лба.

Максим проснулся.

Сначала в глазах было узнавание. Чистое, обнажённое. Потом он увидел мою ладонь на своём лице, понял, как спал, и узнавание сменилось яростью.

— Не прикасайся ко мне.

Он вскочил. Я отступила, но стена оказалась за спиной. Максим прижал меня к ней, удерживая запястья над головой.

— Что ты делаешь со мной?

Я не могла ответить. Только смотрела.

— Отвечай!

Из горла вышел слабый воздух.

Его взгляд упал на мой рот. Я увидела момент, когда он проиграл.

Максим поцеловал меня грубо, почти жестоко. Губы смяли мои, заставили раскрыться; во вкусе смешались кровь от снова треснувшей ранки, злость и голод пятнадцати лет. Я ответила сразу. Не потому, что простила. Потому что тело узнало мужа и рванулось к нему, как человек к воздуху после долгого удушья.

Он отпустил запястья, ладони прошли по плечам, груди, сжали талию. Через тонкую ткань прикосновения обжигали. Большой палец провёл по напряжённому соску, и меня выгнуло к нему. Максим застонал мне в рот, подхватил за бедро, прижал крепче. Его рука скользнула на ягодицу, сжала, заставляя почувствовать возбуждение, тяжёлое и горячее.

Поцелуй стал глубже, болезненнее. Он будто наказывал нас обоих: меня — за то, что помнила, себя — за то, что тело не забыло. Я вцепилась в его плечи, пальцы прошли по затылку. Хотела его так отчаянно, что ломило кости и каждая клетка плакала от близости, которой не должно было существовать в комнате пленницы.

Максим провёл ладонью под рубашку, коснулся обнажённой кожи живота и двинулся выше. Я задрожала. Когда пальцы накрыли грудь, из горла вырвался беззвучный стон. Его рот спустился к шее, но, увидев синяки, он остановился, дыхание обожгло повреждённую кожу.

— Они касались тебя здесь, — прошептал он.

Я кивнула.

— Я убью его.

Я коснулась его лица: нет.

Он снова поцеловал, теперь медленнее, но рука скользнула по бедру, начала поднимать край рубашки. Я поняла, что ещё шаг — и мы перестанем понимать, где память, где боль, где желание доказать собственную власть.

Я положила ладонь ему на грудь и отстранила.

Максим замер.

Я покачала головой.

В его глазах стоял такой голод, что на секунду стало страшно. Он тяжело дышал, пальцы на моём бедре дрожали. Но сразу убрал руку. Отступил. Не потребовал объяснений. Не попытался убедить. Просто остановился, хотя это стоило ему видимого усилия.

И я увидела разницу между настоящим Максимом и чудовищем, которого создавал Лис: мой муж мог быть бешеным, властным, сломанным, но моё «нет» всегда оставалось границей.

Я написала на блокноте: «Ты помнишь главное».

Он застегнул мою рубашку резкими движениями.

— Я помню, что не насилую пленниц.

«Я не пленница. Я твоя жена».

Максим порвал лист.

— Это больше не повторится.

Я коснулась распухших губ и написала: «Лжёшь».

Он посмотрел так, словно хотел снова доказать обратное моим ртом, но развернулся и вышел.

После его ухода я долго стояла у стены. Колени дрожали, кожа хранила следы рук, губы горели. Мне было стыдно за желание и одновременно хотелось плакать от счастья: на одно мгновение он вернулся. Не памятью — поступком. Остановился, когда я попросила.

Я подошла к зеркалу. Волосы растрепались, губа припухла, на коже груди под расстёгнутой пуговицей краснел след его пальцев. Рядом с багровыми отпечатками мучителя он выглядел почти нежным, и от этого сравнения меня затошнило. Один мужчина отнимал у меня воздух, чтобы сломать. Другой едва не лишил дыхания поцелуем — и всё же вернул контроль в тот момент, когда я положила ладонь ему на грудь.

Я ненавидела, что это казалось победой. Ненавидела собственное тело, которое отзывалось на Максима быстрее, чем разум успевал перечислить обвинения. Но сильнее ненависти была надежда. Лис мог вложить ему в голову чужие факты, заставить сомневаться в детях, во мне, в самом себе. Однако он не сумел уничтожить ту границу, которую Максим никогда не переступал. Настоящее чудовище не остановилось бы. Мой муж остановился.

Я застегнула рубашку до горла, закрывая и синяки, и след его руки. Потом написала в блокноте: «Ты вернулся на одно “нет”». Хотела сохранить фразу, но порвала сама. Если её найдут, Лис превратит даже это в оружие.

За дверью слышались шаги. Я замерла, надеясь, что Максим вернулся. Шаги прошли мимо. Разочарование оказалось таким острым, что захотелось ударить себя. Он только что обвинял меня, унижал, целовал как наказание — а я ждала.

Ночь стала глубже. Я попыталась уснуть, но каждый вдох всё ещё требовал усилия. За дверью несколько раз проходили люди. Потом раздался тихий скрежет возле потолка.

Я открыла глаза.

В углу, где раньше была только вентиляционная решётка, появилась маленькая чёрная камера. Индикатор не горел, но линза была направлена прямо на кровать.

Я села и посмотрела в объектив.

Максим установил её после ухода. Не для допроса — в комнате уже была общая камера у двери, охватывавшая стол и вход. Новая смотрела на моё лицо, грудь, движение плеч. На дыхание.

Я легла обратно, повернулась к линзе и положила ладонь на сердце. Потом медленно вдохнула, показывая ему: жива.

В соседнем штабе мужчина, который обвинял меня в притворстве, следил, поднимается ли моя грудь.

До самого рассвета камера едва слышно поворачивалась каждый раз, когда я меняла положение.

И впервые я поняла: Максим не просто помнил меня телом.

Он всё ещё боялся меня потерять.

Глава 8

Во сне Дарина умела говорить.

Не хрипеть, не царапать бумагу ручкой, не смотреть на меня своими проклятыми серо-голубыми глазами так, будто в них похоронили целую жизнь, которую я обязан был помнить. Она произносила моё имя спокойно, почти нежно, и от этого простого звука меня выворачивало сильнее, чем от крика раненого человека.

— Максим.

Я стоял перед зеркалом, но отражения в нём не было. Только она — босая, в моей белой рубашке, слишком большой для её тонкого тела, с распущенными тёмными волосами и теми синяками на шее, которые оставили люди Лиса. Дарина подошла, и я хотел приказать ей остановиться, однако язык прилип к нёбу. В этом сне голос отняли у меня, а ей вернули.

— Не двигайся, Зверь.

— Не называй меня так.

— Ты всегда сердился, когда боялся.

Она улыбнулась одними уголками губ, и от этой улыбки внутри лопнуло что-то старое, заржавевшее, намертво вросшее в рёбра. Я знал её. Не как пленницу. Не как жену врага. Не как женщину, которую мне приказали ненавидеть. Я знал, как она щурится от яркого света, как прячет тревогу за издёвкой, как её волосы пахнут холодом и горьким миндалём. Знание было таким точным, что становилось болью.

Дарина подняла руку и провела пальцами по шраму под моим левым ребром.

Кожа вспыхнула.

— Этот ты получил не в плену, — сказала она. — Ты закрыл меня собой у старого элеватора. Потом трое суток убеждал врача, что пуля прошла навылет исключительно из уважения к твоему характеру.

— Ложь.

— Конечно. Ты же никогда не спасал меня.

В её голосе не было насмешки, только усталость женщины, которая слишком долго доказывала мёртвому, что он когда-то жил. Пальцы скользнули по рубцу, надавили на узкий излом в центре, и меня пронзило белой болью. Вместе с ней в голову ворвался запах мокрого бетона, пороха и её крови. Чья-то очередь разбила стекло. Дарина кричала. Я толкнул её на пол, накрыл собой и почувствовал, как горячий металл вошёл под ребро.

Картинка исчезла прежде, чем я успел схватить её.

— Что ты мне сделала? — спросил я.

— Я любила тебя.

— Это не ответ.

— Для тебя — единственный.

Она приложила ладонь к моей щеке. Я ненавидел себя за то, что наклонился к ней, точно голодный зверь к воде. Ненавидел её тепло, свою слабость, облегчение, с которым тело узнало прикосновение. Дарина провела большим пальцем по моей скуле и произнесла тихо, почти беззвучно:

— Когда тебе станет страшно, ищи не лицо. Ищи то, что болит.

— Что должно болеть?

— Правда.

Зеркало треснуло. По лицу Дарины прошла чёрная линия, потом вторая, третья, рассекая её на осколки. За её спиной возник Лис и положил руки ей на плечи. Я рванулся вперёд, но между нами выросло стекло.

— Она опять программирует тебя, — ласково сказал он. — Просыпайся, Максим.

Я ударил в зеркало кулаком.

Проснулся от собственного рыка.

Комната была тёмной, простыня прилипла к спине, сердце колотилось так, словно я действительно бежал за ней через разрушенный элеватор. На экране планшета горела трансляция из комнаты Дарины. Она спала, повернувшись к камере, ладонь лежала на груди. Плечи медленно поднимались и опускались.

Я смотрел на её дыхание до рассвета.

Эту правду нельзя было назвать сном.

Я выключил экран и сжал переносицу. В голове ещё звучало: «Ищи то, что болит». Фраза была красивой, удобной, слишком похожей на крючок, который психика бросает сама себе, когда больше не выдерживает пустоты. Я встречал солдат, переживших плен. Они вспоминали дома, которых никогда не существовало, разговоры с погибшими, запах материнского хлеба, хотя росли в интернатах. Мозг — трусливая тварь. Он сочиняет спасение, когда реальность становится невыносимой.

Но шрам горел.

Я поднялся, подошёл к зеркалу и стянул футболку. Под левым ребром тянулась неровная белая полоса. Я видел её тысячи раз, знал медицинскую запись: огнестрельное ранение при попытке побега из лагеря Вороновых. Пуля вошла сбоку, прошла по касательной, не задев жизненно важные органы.

Я нащупал излом в центре.

Точно там, куда надавила Дарина.

Перед глазами снова мигнул бетонный пол. Женская рука в крови. Мой голос: «Лежи, малыш». Не лицо. Не имя. Только животный ужас, что она поднимет голову и следующая пуля разорвёт ей череп.

Я отдёргнул ладонь, словно рубец мог меня укусить.

— Достаточно, — сказал отражению.

Отражение смотрело с презрением. Высокий мужчина с короткими тёмными волосами, серыми от бессонницы глазами и телом, которое кто-то исписал шрамами вместо биографии. Я привык считать каждый рубец доказательством чужой жестокости. Теперь один из них заявлял, что я сам выбрал пулю, предназначенную ей.

В дверь постучали.

— Войдите.

Лис появился без приглашения, как всегда появлялся в минуты, когда я особенно остро нуждался в одиночестве. На нём был безупречный серый костюм, и даже раннее утро не оставило на его лице ни следа усталости. За ним вошёл сухой пожилой мужчина с кожаным чемоданчиком. Его седые волосы были зачёсаны назад, тонкие губы поджаты так, будто весь мир дурно пах.

— Не помешали? — спросил Лис, заметив планшет.

— Ты уже помешал.

— Зато привёл человека, который поможет понять, почему наша гостья так быстро поселилась в твоих снах.

Я медленно надел футболку.

— Я не говорил, что она мне снится.

Лис улыбнулся.

— Ты не спал всю ночь и проверял её дыхание каждые несколько минут. Либо тебе снится Дарина, либо ты внезапно решил переквалифицироваться в сиделку. Второе оскорбляет мой интеллект.

Хотелось стереть эту улыбку вместе с зубами, но я только перевёл взгляд на незнакомца.

— Кто это?

— Доктор Громов, нейропсихиатр. Он работал с тобой после ранения и возвращения из плена.

Громов поставил чемоданчик на стол и посмотрел на меня профессионально-бесстрастно. Так смотрят не на человека, а на механизм, который однажды уже разбирали и теперь хотят проверить, не разболтались ли винты.

— Мы встречались? — спросил я.

— Много раз.

— Я вас не помню.

— Именно поэтому я здесь.

Лис сел в кресло, которое ночью стояло у кровати Дарины. Моя память услужливо показала её пальцы в моих волосах, и меня передёрнуло.

— Расскажите без врачебной шелухи, — приказал я.

Громов открыл чемодан, достал папку и разложил фотографии. Я лежал на больничной койке: истощённый, с перебинтованной головой, пристёгнутый ремнями. На другом снимке смотрел прямо в объектив, но глаза были пустыми, как выжженные окна.

— После освобождения у вас наблюдались провалы памяти, вспышки агрессии, ложные узнавания и эмоциональная зависимость от образов, связанных с семьёй Вороновых, — произнёс доктор. — Мы установили, что во время плена против вас применялось многоэтапное психологическое программирование.

— Кем?

— Воронами. Их специалисты создавали ложные эмоциональные якоря: запахи, слова, прикосновения, боль в определённых участках тела. Человеку внушали событие, затем закрепляли его физической реакцией. В результате вы могли искренне считать чужую женщину женой, чужих детей — своими, а своих мучителей — людьми, которых обязаны защищать.

Рубец под ребром запульсировал, будто услышал обвинение.

— Удобная теория, — сказал я. — Объясняет всё, значит, не доказывает ничего.

— Сомнение ожидаемо. Вам наверняка снятся сцены, которые кажутся воспоминаниями. Возможно, Дарина во сне произносит известные только вам слова, касается шрамов, объясняет их происхождение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.